Мой XX век
«Бессмертная трилогия»
Анатолий Мариенгоф

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897 — 1962), поэт, прозаик, драматург, мемуарист, был яркой фигурой литературной жизни России первой половины нашего столетия. Один из основателей поэтической группы имажинистов, оказавшей определенное влияние на развитие российской поэзии 10-20-х годов. Был связан тесной личной и творческой дружбой с Сергеем Есениным. Автор более десятка пьес, шедших в ведущих театрах страны, многочисленных стихотворных сборников, двух романов — "Циники" и "Екатерина" — и автобиографической трилогии. Его мемуарная проза долгие годы оставалась неизвестной для читателя. Лишь в последнее десятилетие она стала издаваться, но лишь по частям, и никогда - в едином томе. А ведь он рассматривал три части своих воспоминаний («Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги» и «Это вам, потомки!») как единое целое и даже дал этой не состоявшейся при его жизни книге название - «Бессмертная трилогия». Впервые мемуары Мариенгофа представлены читателю так, как задумывал это автор. А блестящий стиль, острая наблюдательность, яркая образность языка, рассказы о легендарных личностях в истории нашей культуры (Есенин, Мейерхольд, Качалов, Станиславский и многие другие) и вправду позволяют считать трилогию Мариенгофа бессмертной.

- Анатолий Борисович Мариенгоф
  - ○
  - ○ Послесловие
- notes
  - ○

Анатолий Борисович Мариенгоф

Это вам, потомки!

Итак, итог.
В. Шершеневич

Трое суток лил холодный дождь. Лифт был в ремонте. Репетиция у Никритиной прошла плохо. С мокрым зонтиком в руке, в промокшем пальто она плюхнулась в широкое кресло, что стояло у нас в передней:

— Ах, как мне надоела эта трудная жизнь!

— Что делать, дорогая, — ответил я. — Легко только в гробу лежать.

— А где Сережа?

Так звали нашего кота-сиамца.

— Почему он меня не встречает?

— Спит на моей рукописи. Я мечтаю поработать, да вот не решился потревожить его.

Никритина взглянула на меня испуганно: не спятил ли ее муженек со своим котом?

Дело в том, что я очень сочувствовал ему. Ведь самое трудное в жизни ничего не делать, а он не пишет, не репетирует, не читает газет, не бывает в кино… Бедный кот!

* * *

Михаил Яковлевич Вайнштейн, член партии с 1903 года, сказал мне доверительно:

— С дурой я даже спать не могу.

— Да что вы в этом понимаете, Михаил Яковлевич! — улыбнулся я.

В этом он действительно понимал не слишком много, так как в общей сложности около двенадцати лет просидел в одиночке Петропавловской крепости. Да еще — остроги, тюрьмы, этапы, подполье…

Свою золотую свадьбу он только что справил с Розой

Яковлевной, несмотря на то, что она была закоренелой и отчаянной меньшевичкой.

В доме у них — и в Берлине (где мы познакомились), и в Париже (где подружились), и в Москве (где закрепилась наша дружба) — постоянно шли горячие политические споры. Меньшевичка Роза Яковлевна не могла простить своему обожаемому «отпетому большевику» ни единой оплошности наркома, Политбюро и ЦК ВКП(б).

Споря, они переходили на «вы» и называли друг друга по имени-отчеству. Их бесконечно добрые глаза пылали гневом.

Когда Михаил Яковлевич сидел в кресле, он казался высоким мужчиной. Плотное сложение, широкие плечи, большая чаадаевская голова «как череп голый». Нос увесистый. А над ним предельно черные, словно подкрашенные, брови шириной в два пальца.

Но стоило Михаилу Яковлевичу встать с кресла на свои чрезвычайно коротенькие ножки с изящными дамскими ступнями, и вы невольно улыбались от неожиданности: высокий мужчина оказывался очень маленьким. Даже пониже Розалии Яковлевны. Она словно сошла со старой гравюры «Нигилистка». Так же стрижены волосы, те же роговые очки на энергичном носу, та же строгая кофточка с глухим воротничком и широкий кожаный пояс.

В эмиграции Михаил Яковлевич был близок к Владимиру Ильичу, находясь у него как бы в личных политических секретарях.

— Вы, Михаил Яковлевич, любите Ленина? — однажды спросил я. — Очень?

— То не то слово, — ответил он. — Что это такое «любить Ленина»? Нет, он всегда висит в красном углу большевистской души, как икона в крестьянской хате.

А ведь Михаил Яковлевич с Лениным за домашним столом чай пил!

И еще существенно, что мой сереброголовый друг терпеть не мог красивых слов из арсенала Троцкого. А тут выдал этакий образ!

Розалия Яковлевна и Михаил Яковлевич всю жизнь спали на разных кроватях. В ту страшную ночь меньшевичку разбудил его шепот:

— Розка, умирать приполз к тебе.

И, взобравшись на высокую постель, он тихо отошел, прижавшись к теплому плечу своего политического противника.

Ах, какие это были люди!

Чрезмерный пессимизм так же противен, как и чрезмерный

оптимизм. Два дурака только разного цвета — черный и розовый.

* * *

В 1909 году Лев Толстой записал в дневнике:

«Чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься душою и низко падать».

Падать-то низко мы умеем.

Ни за что не написать мне так, чтобы понравилось нашему министру культуры.

А вот по Чехову, «заяц, ежели его бить, спички может зажигать».

Значит, он, этот заяц-то, поумней будет.

* * *

Был Зощенко. Лицо у него словно из холодного пепла. Тех, кого не прорабатывал Сталин, кладут в гроб краше. А ведь Зощенко сейчас «благополучен» — его однотомник издан «Советским писателем».

Он в шелковой рубашке и отличном костюме из английского материала. К сожалению, нервных клеток, сожженных Сталиным, не сошьешь себе из английского материала.

Когда за столом кто-нибудь произносил фразу погромче, Михаил Михайлович болезненно морщился и на лице возникали морщины, как у глубокого старика.

К коньяку он не прикоснулся. Пил только шампанское. Пил безрадостно, редкими маленькими глотками, как остывший чай с молоком.

Как-то в сорок восьмом году я зашел к нему. С большими ножницами в руках Михаил Михайлович ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то «Артели инвалидов». Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже.

Мы жили в Пицунде. Это Абхазия. Это под синим небом теплое море, такое же красивое, как все теплые моря. Это берег в мелкую округлую гальку, к которому с гор спустились сосны.

Пятисотлетние сосны и постарше. Нам особенно нравились те, что постарше. Мы могли их обнять только вдвоем с Никритиной. Рядом с ними наши подмосковные вековые сосны казались тонкими юными деревцами. Я был так увлечен Пицундой, что даже перестал читать газеты. А у себя дома, в Ленинграде, они мне казались столь же необходимы, как две утренние чашки крепкого кофе.

Мы с Никритиной ходили и ходили по толстым мягким коврам из желтой хвои. До войны в царскосельских дворцах лежали почти такие же роскошные ковры. И вот в одну из прекрасных пятниц, самую обычную в этих местах, я получил письмо от приятеля. Сначала он, конечно, сообщил про погоду: «Лето у нас в Ленинграде препротивное — холод, дождь», а потом, в конце четвертой страницы среди прочих новостей сообщил, не выделяя особо: "Вы, конечно, знаете, что умер М. М. ".

— Какой М. М.?

— Ничего не понимаю… М. М… Кто бы это мог быть?

— Какая-то идиотская конспирация!

И вдруг Никритина горестно всплеснула руками:

— Это Михал Михалыч!

У меня перехватило дыхание:

— Да, Михал Михалыч.

Перед нашим отъездом из Ленинграда он заглянул на Бородинку. Был неразговорчив и трудно улыбался.

Перечитали строчку письма. Сомнений не было.

— Он.

Так мы узнали о смерти Зощенко.

* * *

Месяца через три, промозглым туманным днем, классическим для Ленинграда, мы поджидали к завтраку Шостаковича.

— А ты, Нюша, выпьешь рюмочку? — спросил я, откупоривая «маленькую» армянского коньяка.

— Непременно. По погодке.

Дмитрий Дмитриевич пришел, как всегда, точно в условленное время.

Аккуратность, исполнительность, безусловно сдержанное слово, жизненный порядок являлись неизменными свойствами этого музыканта, самого вдохновенного в нашем веке.

Шостакович приподнял рюмку:

— Мне бы хотелось выпить в память Михал Михалыча.

Молча выпили.

Мы все по-настоящему любили Зощенко.

— Мне передавали, Дмитрий Дмитриевич, что вы были на его похоронах.

— Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый.

И, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рассердившись на кого-то:

— Очень красивый. Очень, очень.

И сам разлил по рюмкам коньяк.

— Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель.

И опять сердито сморщил переносицу.

— Великий, великий. А вот в покер играл отвратительно! Я терпеть не мог с ним играть. Как дурак он играл. Всегда проигрывал. Помните, как я убежал, швырнув карты? Это, Анатолий Борисович, у вас приключилось, на Кирочной. У Зощенко на руках флешь-рояль был. От короля-флешь. С джокером. А у меня тузовый покер. Так он, дурак, после третьего повышения — открыл меня. А ведь раздеть мог. Я бы лез и лез. Помните?

— Конечно, помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь.

Шостакович улыбнулся, обрадовался:

— Да-да! Мой тузовый покер нарвался на флешь. Такое в жизни не забывается. Это верно, это верно.

Я был в добрых отношениях с Михал Михалычем больше четверти века. С молодых лет он очень уважительно относился к медицине — к врачам, к аптекам, к лекарствам, к диетам, к медицинской литературе, наивно считая ее научной. Здоровья он был неплохого, я бы сказал — среднеинтеллигентского, но обожал лечиться, добросовестно выполняя советы врачей. Он очень боялся умереть. А вот в это трагическое лето, заболев совсем несерьезно, вдруг испугался не умереть. И до последнего вздоха решительно и упорно отказывался от врачей, от лекарств и даже от еды.

Устал. Устал жить.

Его жену, Нину Владимировну, в Союзе писателей спросили: «Где бы вы хотели похоронить Михал Михалыча?» Она ответила: «На Литераторских мостках». Но ей в этом отказали под каким-то глупым предлогом. «В таком случае, — сказала она, — я хочу похоронить мужа в Сестрорецке». Там была у Зощенко дача.

Вернее — половина дачи. Этому желанию вдовы в Союзе обрадовались: «Пожалуйста, мы сегодня же договоримся с похоронным бюро».

А вечером того же дня наше Правление долго обсуждало текст траурного объявления в газете.

Обычно извещали так: «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине…» и т. д. Но умер не кто-то, а Зощенко. Правлению Союза писателей пришлось всерьез задуматься: «Уместно ли о Зощенко печатать „с глубоким прискорбием“?» Нет, не уместно! И в «Ленинградской правде» появилось в черной рамке: «Правление Ленинградского Отделения Союза Советских писателей РСФСР с прискорбием извещает о смерти М. М Зощенко»

Но вынос тела все-таки попытались обставить внушительно. Замдиректора нашего клуба тов. Миллер, выглянув из окна, поразился, что знаменитое здание на ул. Воинова окружено плотным кольцом милиционеров в форме — красные околыши, погоны и канты. Обескураженный, он немедленно позвонил в отделение милиции:

— В чем дело, товарищ начальник? Мы не привыкли хоронить писателей с милиционерами в форме.

— Так, так. Не привыкли, чтобы в форме? Ну, в таком случае мы их переоденем в штатское.

И действительно переодели.

* * *

Было сказано: «Собаке — собачья смерть».

Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с.г. на семьдесят первом году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного.

Вот и сделали по сказанному.

* * *

Собираюсь шить себе шубу. Разумеется, она будет последней в жизни. И от этой мысли почему-то не грустно. Но и не радостно.

* * *

Про одного своего полуприятеля, полуписателя, полубиллиардиста и покериста Маяковский презрительно сказал:

— Он хорошо настроен, потому что плохо осведомлен.

Это было уже в сталинскую «эпоху».

* * *

Хорошенькая Валя, свернувшись клубочком на тахте, одним ухом слушала по радио приглушенного Ойстраха, а другим — разговор за чайным столом трех бабушек. Они говорили о недавних смертях: у одной бабушки умерла ее школьная подруга, у другой — ее первый возлюбленный, у третьей — двоюродная сестра.

Не выдержав. Валя буркнула с сердцем:

— Не знаю! У нас вот никто не умирает!

Бабушки смущенно замолчали. Даже не стали оправдываться. Даже не сказали: «У вас!..».

Хорошенькая Валечка была студенткой второго курса.

* * *

Был Образцов. Не виделись около года. В разных городах жить — это не на разных улицах. У него дела превосходны. Пишет книги, статьи, издается, печатается в журналах, в газетах, с успехом ведет театр, режиссирует, концертирует, снимается в кино, ставит там, разъезжает по Европе, Азии и Африке, обласкан Кремлем. Словом — и в деньгах, и в славе! Казалось бы, кроме усталости, что-то и другое должно быть в глазах. А я вижу одну усталость.

Ночью говорю Никритиной:

— Сережа очень постарел.

— Ужасно!

— И внутренне постарел.
— Да.
— И не слишком счастлив.
— Да.
— Почему?
— Я только что хотела этот вопрос задать тебе: почему?

* * *

Один неглупый старый холостяк сказал мне:
— Жениться еще страшней, чем в первый раз влезть в новые ботинки и отправиться пешком от Пяти Углов на Каменный Остров.

* * *

— Мама, а бабушка может рожать? — спрашивает шестилетний Кирка.
— Нет.
— Ага! Я же сказал, что она самец.
Дело в том, что у бабушки свисают с верхней губы черные усики.

* * *

Мы жили в донской станице. Хозяйка, кормя своих уток, каждую называла по имени, и те, поклевывая, откликались.
— Утки умные? — спросил я.
Седоусый казак хмуро ответил:
— Жрать все умные.
Он был философ, а в эту минуту лениво читал роман-газету.

* * *

Мне нравится мудрый гуманизм всех сук земных (за исключением женщин): доведя до возмужания своих щенят, они напрочь о них забывают и не требуют благодарности, признательности, почитания. За что? Брюхатели-то суки, расплачиваясь за полученное удовольствие. И все.

* * *

Буржуазная мудрость: в жизни надо иметь одну жену, а менять — любовниц.

* * *

Жду приятеля, с которым не виделся лет двадцать, и прихорашиваюсь, как перед свиданием с женщиной.

Очевидно, не очень-то хочется, чтобы он сочувственно вздохнул:

— Э, брат, постарел, постарел!

* * *

Врач рассказал:

— У нас в родильном доме женщина родила китайчонка. И скандалит: «Подменили! Подменили!» Отказывается кормить его грудью. А через несколько дней к подъезду подкатывает в ЗИМе молодой китаец с букетом роз.

Я самодовольно улыбаюсь, так как всегда утверждал, что женщины несравненно лживей нашего брата.

* * *

Для большей убедительности газетчики пишут: «как всем известно» или еще лучше: «как всему миру известно». Это даже в том случае, когда никому не известно.

И на глупого читателя это действует.

* * *

Государство, как надоедливая муха, жужжит. Жужжит, жужжит тебе в уши. Потом садится на тебя, кусается, как собака. О, Боже мой!

* * *

На свете довольно много женщин, которые очень любят собак, кошек, птичек в клетках, а людей не любят. Такие мужчины тоже попадаются, но, к счастью, пореже.

* * *

Где жар страстей? Он мне не дорог.
Других восторгов будь знаток.
С улыбкою приму, под сорок
Я октября легчайший холодок.

* * *

Жена донжуанствующего приятеля сказала:

— И все-таки я предпочитаю быть женщиной, которой изменяют, а не женщиной, с которой изменяют.

И я понял ее. Ведь в театр, на концерты и к друзьям Дон-Жуан ходил с женой, а не с женщинами, с которыми изменял ей.

* * *

Женщины часто говорят:
— Я его люблю сама не знаю за что…
Вот суки!

* * *

«Это» часто проделывают без всякой лирики. Для здоровья. От головной боли. От скуки. И мужчина по-честному не называет это высокими словами. А женщина обязательно — любовью!

И еще: женщина легко, запросто говорит «он влюблен в меня» о мужчине, который ни разу не сказал подобной фразы ни себе самому, ни ей, ни своему приятелю.

* * *

Наполеон принимал министра. Беседа затянулась. Неожиданно министр упал в обморок. Впоследствии императору объяснили:

— Ваше величество, он боялся сказать, что ему необходимо в уборную.

— Человек, которого я сделал министром, должен отвыкнуть мочиться, — изрек Наполеон.

Деспотов, разумеется, надо вешать на фонарях. Даже гениальных.

* * *

Когда весть о смерти Александра Македонского долетела до Афин, один свободолюбивый грек воскликнул:

— Не верю! Иначе смрад от его трупа провонял бы уже всю вселенную.

* * *

Шестилетний Мишка, поссорившись из-за гамака с ребятами, орал на свою мать и тетку:

— Зачем вы привезли меня на эту проклятую дачу? Чтобы я трепал свои последние нервы? Зачем?

И дрыгал, как истеричка, ногами. А интеллигентная тетка, бледная, как полупокойница, целовала его в глазки дрожащими губами:

— Успокойся, маленький… Успокойся, моя крошка.

* * *

К старости почти перестаешь чувствовать весну, лето, осень, зиму. Только: тепло, холодно, мокро, ветрено.

Какая скука!

* * *

Растирая мне молодыми сильными руками поясницу, массажистка вдруг сказала:

— Вчера развелась с мужем.

— А кто он был, этот ваш муж?

— Знаете пословицу: не стал инженером, будь офицером, — ответила она.

Хорошая пословица. Я не знал ее.

* * *

В приемной сановника маститый NN кладет на язык таблетку.

Хорошенькая секретарша лукаво спрашивает:

— Министра культуры боитесь?

— Нет, — отвечает NN, — я боюсь культуры министра.

* * *

— Я молю Бога, Боренька, чтобы у тебя всегда был один лишний рубль, — говорила мудрая еврейская мама своему сыну, у которого всегда не хватало по крайней мере одной тысячи.

Боренька — Борис Евсеевич Гусман. Лицом этакий курносый еврейский император Павел. Только добрый, симпатичный и совсем не сумасшедший.

Он написал интересные книги — «Сто поэтов», «Чайковский» (монография; света не увидела). Он много лет подряд работал с Марьей Ильиничной Ульяновой в «Правде». Сталин турнул его оттуда, но почему-то не посадил, а отправил в Большой театр.

Мой друг руководил им «со свежинкой». Сталин и оттуда турнул его за эту самую «свежинку». Но опять не посадил, а «кинул», как тогда говорили, в Радиокомитет. После чего, не слишком канителясь, конечно, посадил за… «аристократизм в музыке», то есть за передачу по радио симфоний Бетховена, Скрябина, Равеля, Дебюсси и Шостаковича. В обвинительном заключении было сказано: «Гусман завербован во „враги народа“ Керженцевым».

Керженцев, его патрон по Радиокомитету, умер, никем никогда не потревоженный, с пышным некрологом в «Правде».

* * *

Самое убийственное для женщины, если она не слишком молода и хороша, вести себя, как юная красавица.

А ведут, ведут. И даже совсем не дуры.

* * *

Жена выставила мужа из спальной. Поссорились. Тот перебрался спать в другую комнату.

Забравшись к матери в кровать, дочурка спрашивает:

— Значит, наш папа теперь уже не папа, а просто сосед?

* * *

Хорошие писатели поступают так: берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном.

* * *

Надо быть животным, чтобы хоть раз в жизни не подумать о самоубийстве.

Мне кажется, что это моя мысль. А может быть, и не моя.

* * *

Меня так замучили «проработками», что я уже не охаю, а только смеюсь. Совсем как дочка Пыжовой. У девчушки както заболел зубок. Мать повезла ее к врачу. Вернулись. Ольгуша залезла в кроватку и смеется.

— Ты чему радуешься? Зубок выздоровел?

— Нет, не потому.

— А почему?

— Ковыряли, ковыряли, а зубок-то все болит.

* * *

Наш Игорь, наш герой-любовник бывшего Александрийского театра, одеваясь в передней, вытер пыль на ботинках своим кашне, а потом шикарно накинул его на шею.

Он из интеллигентской семьи — прадед, дед и отец архитекторы, мама — педагог (преподает французский язык), сам чуть-чуть не кончил философский факультет, в театре играет не только Ваську Пепла из «На дне», но и дона Цезаря де Базана, который, как известно, и «перед королем Испании не снимал

своей шляпы».

И вот это «кашне»!

Воистину наша эпоха удивительная.

* * *

Старый Эйх — так называли мы в домашнем кругу профессора Бориса Михайловича Эйхенбаума — однажды без улыбки спросил меня:

— А знаешь, Толя, что во Французской Академии сказал о тебе Виктор Гюго?

— Нет, к стыду своему, не знаю.

— Может, тебе это интересно?

— Очень!

Тогда старый Эйх снял с полки только что вышедший XV том Гюго и с отличной выразительностью стал читать двадцать пятую страницу:

«Ни один поэт не заставлял свои трагедии и комедии сражаться с такой геройской отвагой. Он посылал свои пьесы, как генерал отправляет на приступ своих солдат. Запрещенная драма немедленно заменялась другой, но и ее постигала та же участь».

Эйх захлопнул книгу и замолчал, не без самоудовлетворения и торжественности.

— Да, профессор, Виктор Гюго это сказал обо мне. И это святая истина.

Сегодня, то есть 9 февраля 1957 года, ВСЕ мои пьесы запрещены.

— Сколько их?

— Больших девять. Юношеские не в счет, очень плохие — тоже. Одни запрещали накануне первой репетиции, другие накануне премьеры, третьи — после нее, четвертые — после сотого спектакля («Люди и свиньи»), пятые — после двухсотого («Золотой обруч»).

* * *

У молодых советских супругов частенько жизнь идет по трагической песенке:

Дунька дома — Ваньки нет,
Ванька дома — Дуньки нет.

Ребята на улице: — Закрой поддувало!
— Не сифонь, — отвечает семилетний пузырь.
Я учусь у них сегодняшнему языку.

* * *

Женщина забывает даже имя своего возлюбленного (если их было порядочно). Но обязательно помнит с мельчайшими подробностями все платья, которые она носила примерно с двенадцатилетнего возраста.

* * *

Коктебельское небо в июле — синяя клеенка, протертая мокрой тряпкой.

Сентябрьский луг в Солнечном словно забрызган хорошим одеколоном.

Моя юношеская любовь — ее звали Танечкой — всегда выскальзывала из рук, как кусок мокрого мыла.

Эти образы мне когда-то казались удачными. А потом я стал их вычеркивать из своих рукописей.

* * *

Мао Цзедуна почему-то банкетировали не в Георгиевском зале Кремля, как было принято, а в гостинице «Метрополь».

Мао со своим окружением и Сталин со своими «соратниками» расположились в Малом зале по соседству с Большим залом, где за многоместными столами ели и пили те, кого неизменно вызывали на все правительственные банкеты.

Двери из Малого зала в Большой были раскрыты.

Детский поэт Сергей Михалков, чтобы его «там» заметили,

упорно и взволнованно прохаживался на своих длинных ногах перед дверями Малого зала.

В конце концов Сталин поманил его толстым коротким пальцем, согнутым в суставе.

— Пожалуйте к нам, пожалуйте, милости просим.

И представил китайцам:

— Наш знаменитый детский поэт товарищ Михалков.

Потом о чем-то спросил его, что-то сказал ему и улыбнулся на какую-то его остроту.

Вдруг Михалков увидел недоеденный чебурек на тарелке генералиссимуса.

— Иосиф Виссарионович, у меня к вам большая просьба! — отчаянно зазаикался искусный советский царедворец.

— Какая?

Превосходно зная, что заиканье нравится Сталину — смешит его, — Михалков зазаикался в три раза сильней, чем в жизни.

— Подарите мне, Иосиф Виссарионович, на память ваш чебурек.

— Какой чебурек?

Михалков устремил восторженный взгляд на сталинскую жирную тарелку.

— А?… Этот?…

— Этот, Иосиф Виссарионович, этот!

— Берите, пожалуйста.

И наш избранник муз благоговейно завернул в белоснежный платок сталинский огрызок, истекающий бараньим жиром.

* * *

— Мамочка, роди меня, пожалуйста, обратно, — сказал Кинька.

Ему тогда уже исполнилось пять лет, и он был в мрачном настроении.

* * *

Флобер и Мопассан считали, что Бальзак, при всем его величии, не то что неважный писатель, а вообще не писатель.

Вот вам!

* * *

— Опять суп с фрикадельками!

Мы всегда едим, что любит наша домработница, а не то, что нам по вкусу.

Совсем как в литературе. Разве читателя у нас кормят тем, что ему нравится?

* * *

Бетховен выучился музыке из-под палки.

А про Христа он сказал:

— В конце концов, это только распятый еврей.

* * *

В 1789 году Марат в своем «Друге Народа» писал: «Вчера в 5 ч. вечера прибыли в столицу король и дофин. Для добрых парижан это настоящий праздник, что их король среди них».

Хороший писатель и этим воспользуется, если будет писать роман о Марате.

Плохой — никогда!

* * *

Я как-то сказал старому Эйху о коротеньком, круглом, талантливом и очень умном Викторе Шкловском:

— Гибкий мужчина! Лет тридцать он публично кается и признает свои ошибки, разумеется, ничего не признавая и ни в чем не раскаиваясь.

— А что делать? — вздохнул старый Эйх, этот честнейший и принципиальнейший из всех смертных россиян моего века.

* * *

Как известно, даже французы (Флобер, Гонкуры, Мопассан и др.) считали нашего Ивана Сергеевича Тургенева арбитром литературы.

И вот этот-то европейский арбитр поначалу не понял, не почувствовал, не оценил «Войны и Мира».

Он писал:

«Как все это мелко и хитро и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том — трус, мол, я или нет?… Где тут черты эпохи? Где краски исторические?»

А в другом письме:

«…Автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных современных генеральчиков».

Ну?

И про «Анну Каренину» не лучше:

«… Все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.».

А Салтыков-Щедрин! Как он изволил высказываться:

«Читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детородных частей? Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского…»

Вот они, современники! Вот их суд! А ведь Тургенев и Щедрин, пожалуй, не глупей будут Ермилова. Этого нашего «арбитра», с позволенья сказать.

* * *

Юлий Цезарь был изнеженным женственным щеголем. Сулла называл его «мальчиком в юбке». В походы Цезарь брал с собой роскошные мозаичные полы и был окружен генералами-литераторами.

И даже такого деспота зарезали.

Очень хорошо, что зарезали.

* * *

Гете говорил, что поэзия действует всего сильней в начале культурных эпох, когда они еще совершенно грубы.

Конечно!

* * *

Рейнольдс:

«Назойливое выставление напоказ простоты так же неприятно и противно, как всякий другой род неестественности».

Нашим писателям это полезно знать.

* * *

«Старый дурак глупей молодого».

Конечно!

* * *

Наш министр культуры говорит о живописи, о музыке, о театре, о литературе.

— Товарищ Михайлов, — хочется спросить его, — а знаете ли вы, что у Антона Павловича Чехова была такая молитва: «Боже, не позволяй мне говорить о том, что я не знаю и не понимаю».

* * *

Из пушкинского «Путешествия в Арзрум»:

"У Пушкина на столе (это во Владикавказе) нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух…

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве".

Признаюсь: читаю эти строчки, перечитываю и по сердцу как бархатной лапкой.

«Похоже, говоришь? Знакомо?»

«О!…»

«А что дурень — „О!“ Что знакомо?… То, брат, Пушкин, понимаешь, Пушкин! А то…»

Внутренний диалог довольно убедителен. И все-таки приятно.

* * *

Вот ведь какое гнусное почти правило — как подлец, негодяй, предатель, хапуга, человек злой, коварный — умен, обязательно умен! А среди добряков, среди милых, среди хороших — днем с огнем поищи-ка умного. Редчайшая редкость.

* * *

В эпоху Возрождения Англия являлась маленькой страной — около пяти миллионов жителей, из них четыре пятых — неграмотных, а писателей было около трехсот — среди которых Шекспир, Бен Джонсон, Спенсер, Томас Мор, Марло, Флетчер, Мильтон…

А нас сколько? 200 миллионов. И почти все умеют писать-читать. Но где же Бен Джонсон хотя бы? Или Томас Мор?

Грустно.

К слову, о Томасе Море. Как известно, он был лордом-канцлером Генриха VIII. Потом, что являлось не редкостью в ту эпоху, король решил обезглавить его. Поднимаясь на эшафот, автор «Острова Утопии», обращаясь к палачу, шутил:

«Пожалуйста, сэр, помогите мне взойти. А вниз я уж как-

нибудь сам спущусь».

До чего же прелестны англичане в своем чувстве юмора!

Завидую. Надо признаться, что мы этого лишены совершенно. Даже Мейерхольд, когда Сталин поставил его к стенке, не нашел ничего более остроумного, как закричать:

— Да здравствует революция!

* * *

Автор «Анатомии меланхолии» Бертон, из той же очаровательной компании англосаксов, предложил:

«Заберись повыше и смотри, и ты увидишь, что весь мир безумен».

Через три столетия, в наш век атомной и водородной бомбы, я не могу посоветовать ничего другого.

* * *

Гуляли по Московскому зоологическому саду. К железным клеткам, в которых помещались не слишком благородные животные, иногда были прикреплены металлические дощечки с надписью: «Хорошо переносят неволю».

К сожалению, на мою клетку нельзя повесить дощечку с такой утешительной надписью.

* * *

Начальник американского генерального штаба Риджуэй рассказывает: было совещание перед крупной операцией; какой-то генерал, согнувшись над картой, сказал: «За эту высоту я бы отдал десять тысяч человек». В комнате стало тихо. И вдруг из глубины раздался спокойный голос: «Щедрый мерзавец».

Вот и Сталин тоже был щедрый мерзавец. Я даже думаю — самый щедрый из тех, кого запомнила история.

* * *

Только писатели-подлецы могут говорить на собраниях (дома они этого не говорят), что отсутствие свободы делает нас счастливыми, а литературу… великой!

* * *

— Я тебя очень люблю.
— Как это грустно!
— Грустно?
— Да. Я надеялась, что ты скажешь: «Я тебя люблю».

* * *

Я писал «Мой век, мои друзья и подруги» три года, и мне казалось, что это долго. А вот один опыт Дарвина над земляными червями тянулся 29 лет.

В следующий раз я буду говорить себе:

— Помни о червях Дарвина! Литература не менее важна в жизни.

* * *

Получив через восемь месяцев корректуру своей книги, Зощенко сказал:

— У нас все делают так медленно, как будто мы живем триста лет.

* * *

Мастерство актера!… А?… Что же это такое?… Что за мистика?

* * *

У кого-то я прочел, что прославленную Садовскую однажды спросили:

— Как это вы, Ольга Осиповна, можете так играть?

— А я не играю, мой милый. Вот выхожу на сцену, да и говорю. Так же я и дома разговариваю.

Оказывается, это самое трудное. То есть самое трудное для актера — это не быть на сцене актером.

* * *

Когда я пишу пьесу — большую или маленькую — впрочем, не только пьесу, а и прозу, — всегда помню слова Станиславского:

"В четвертом акте «Трех сестер» опустившийся Андрей разговаривает с Ферапонтом… описывает ему, что такое жена. Это был великолепный монолог страницы в две. Вдруг мы получаем записочку, в которой говорится, что весь этот монолог надо вычеркнуть и заменить его тремя словами:

— Жена есть жена!"

* * *

Взглянув на сковородку, я прищелкнул языком:

— О, навага!

— Это известно… коты и мужчины обожают навагу, — брезгливо сказала моя аристократическая тетушка.

Она вообще находила, что у нас с котами много общего. Пожалуй, это справедливо.

* * *

Со злостью скомкав «Литературку», я вспомнил слова Салтыкова-Щедрина про какую-то газетенку его времени:

«Как принесут ее, так и кажется, что дурак вошел в комнату».

Я бы только добавил: дурак и подлец.

* * *

Ковыряюсь, канителюсь, потею над словом… Да, к сожалению, я не Достоевский, я не имею права писать плохо.

* * *

В ВТО, в «Доме актера», был творческий вечер Никритиной.

Чтобы поговорить о ней перед началом концерта приехал с Карельского перешейка Герман Юрий Павлович. Так значится он по паспорту. А по жизни — Юрочка Герман. Ведь в художнической среде — главным образом писательской и актерской — люди изо всех сил стараются сделать вид, что они не стареют, а умирают по недоразумению. Вот и меня по сегодняшний день называют Толей Мариенгофом. Называют так не только члены Союза писателей, но и уважаемые граждане, которых я не имею чести знать ни по фамилии, ни в лицо.

Небось, к примеру, Ивана Сергеевича Тургенева читатели XIX века не называли «Ванечка Тургенев», а Короленко — «Вовочка Короленко»! «Почему же советская эпоха уж больно с нами запанибратски? — не раз спрашивал я себя. — Может быть, потому, что Тургенев и Короленко с бородами были, а мы бритые? Этакие старенькие мальчики».

У сорокалетнего Германа — семидесятилетние седые волосы и живот старого чревоугодника боярской Руси. Этот его живот могучей волной переливается через узкий ремешок, заменивший теперь благородные подтяжки.

Работает, то есть пишет, Юрий Павлович много, без устали, каждодневно, и, несмотря на это сверхусердие, пишет хорошо. А порой отлично.

Свое «слово» он не говорил, а читал — веско и отчетливо.

Вот оно с большими сокращениями:

"Много лет тому назад в городе Киеве из окна учреждения со странным названием ОПРОДКОМ осторожно вылезла тоненькая, смуглая, черноволосая девушка. Она огляделась по сторонам и, охнув от испуга и собственной неслыханной смелости, — прыгнула вниз. Беглянку сочувственными взглядами провожали пом — и замзава бухгалтерии, замначканц и делопроизводитель. Девушка потирала ушибленную ногу, а сослуживцы шепотом напутствовали:

— Ты там, Анна, не подкачай!

— Все придем тебя смотреть!

— Роль чтобы назубок знала. Мы за тебя несем ответственность.

— И говори громко. Нет, понимаешь, хуже, как если артисты шепчутся. Любопытно узнать про что, а не слышишь. Ты давай, Анна, погромче, не робей.

— И галерку учитывай. Там тоже люди. Так играй, чтобы с галерки тебя видели всякую минуту. Лицом к публике играй.

Нюша смеялась, сверкая белыми зубами, кивала, обещала. А большой начальник Анны Борисовны Никритиной замзава бухгалтерии опродкома пообещал:

— Твою работу всю сделаем, не сомневайся. Исходящий и входящий запишем как надо. Ты только наше опродкомовское знамя в театре высоко держи.

Облетели осенние каштаны.

С колотящимся сердцем, черненькая, молоденькая, совсем еще девчонка, Нюша Никритина бежала в Соловцовский театр. Бежала в театр, в котором играли многие артисты — славные имена их вошли в летопись русского театра. Бежала на репетицию, на настоящую репетицию. Бежала, сжимая в руке тетрадку роли. Настоящую роль, с ниточкой! Настоящую первую роль!

Под руководством Марджанова и Дуван-Торцова начиналась сценическая жизнь Анны Борисовны Никритиной. И роль «внучки» в ходкой пьесе «Роман» Никритина сыграла с настоящим блеском. Киевские опродкомовцы — те самые, которые работали за Нюшу, — все явились на премьеру. Нет, недаром они заполняли журналы — «исходящий» и «входящий»! — артистка Никритина не посрамила киевское советское учреждение.

От имени канцелярии опродкома Анна Борисовна получила свои первые цветы — большой красно-белый букет. А замзава бухгалтерии сказал после спектакля:

— Хорошо дала типа, Нюшечка! Хотя и немного было этого

типа твоего в постановке, а все же хорошо! Погоди, мацюпусенькая. Погоди, нэнько. Я тоже не враз замзава сделался. Потоптал стежки и дорожки, покуда до своего кабинета с телефоном дошел. И-и-и-и потоптал! А ты побыстрей пойдешь…

Так Анна Борисовна стала артисткой".

Потом Юрий Павлович стал читать о ролях, ролях, ролях, сыгранных Никритиной в Полтаве, Киеве, Воронеже, Москве и Ленинграде.

А кончил следующим образом:

"Анна Борисовна артистка всем сердцем, всем своим существом. Вне театра для нее нет радостей. Мне довелось следить за Никритиной, когда в театре читались новые пьесы. Каждой удачной строке, каждой реплике, написанной остро, хлестко, театрально — она радовалась. Но как только драматург погружался в тестообразное драмадельство, Анна Борисовна словно бы грустнела, я бы даже сказал, — обижалась! По ходу чтения было ясно, что для Никритиной в пьесе нет роли, однако она радовалась и огорчалась так, как будто это имеет к ней самое прямое, личное отношение. Так же радуется она и огорчается на каждом просмотре спектакля в своем театре. Если все хорошо — Анна Борисовна сияет, хотя она в данном случае только зритель, если худо — она погружается в черную меланхолию…

— Я позволю себе кончить свое краткое вступительное слово, — продолжал Герман, — тем же самым опродкомовским окном, с которого я начал. На мой взгляд, Анна Борисовна по своему характеру с тех опродкомовских времен нисколько не изменилась. Ради роли с ниточкой, ради образа, который интересно сыграть, заслуженная артистка РСФСР, как та киевская девочка Нюша, и теперь вылезет из окна, но не только из первого этажа, и Анатолий Борисович возражать не будет, но только даст руководящее указание:

— По трубе, по трубе, по водосточной трубе спускайся, Нюшка. Небось не семнадцать тебе годков-то… к сожалению.

В этом секрет успехов Анны Борисовны Никритиной, в этом залог ее будущих удач".

* * *

Возобновили старый-престарый фильм «Отец Сергий» по Толстому.

В кино «Аврора», что на Невском возле «Гастронома» № 1, в

переполненном зале было так тихо, словно затаил дыхание один человек, а не тысяча.

Вдруг из тишины, из темноты раздался низкий женский голос:

— Ему надо бы не палец рубить!

* * *

Моя утренняя и ежевечерняя молитва:

— Господи, не делай из меня ханжи. Не делай, пожалуйста, и после шестидесяти, когда стану пенсионером.

* * *

Встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. Шестьсот километров, отделяющие Москву от Ленинграда, жестоко развели нас.

— Это сущее безобразие! — сказал Шостакович, сведя брови.

Дело в том, что опять по всей Руси меня прорабатывали за «Наследного принца». Усердствовали в этом (устно и печатно) те дисциплинированные товарищи, которые не читали и не видали моей новой пьесы. Изъяли все стеклографические экземпляры сразу же, а запретили «Наследного принца» накануне московских генеральных репетиций.

— Ничего, ничего, Анатолий Борисович, будет у вас лучше…

Фраза эта меня несколько удивила. Она была неожиданна для Шостаковича.

При Сталине он обычно говорил:

— Ничего, ничего, Анатолий Борисович, будет хуже.

Когда-то в одном эстетствующем доме я любовался превосходным портретом кисти Серова. Но картина была повешена криво. И от этого, рядом с восторгом, во мне все время пульсировало другое чувство — какое-то раздражение. В жизни необыкновенный Шостакович, выражаясь образно, тоже был «подвешен криво». Требовались очень хорошие нервы, чтобы полностью наслаждаться встречей с ним.

* * *

Съезд партии. Троцкий покаялся. Выступает Надежда Константиновна Крупская. Она говорит, что вот-де Лев Давидович признал свои ошибки, и теперь можно прекратить проработку его (смысл выступления).

Сталин в гневе. Насупился. Шевелятся его усы. Бурчит. Но довольно громко, чтобы сидящие поблизости слышали его:

— Еще одно такое ее выступление, и я сделаю Фотиеву вдовой Ленина.

Это мне рассказал Борис Евгеньевич Этингоф. Он сидел в первом ряду и собственными ушами слышал сталинское бурчание.

* * *

У нас выпустили два фильма о Глинке. Оба, как положено, самые мармеладные. А глинковский приятель, бывший в Берлине у смертного одра композитора, писал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что Глинка умирал в обществе двух девок и до последнего издыхания он глумился над жизнью, глумился над смертью и просил своих девок сделать «по-маленькому и по-большому» на его могиле. Потом-де на ней «цветы вырастут».

Презираю, презираю, презираю наше мармеладное искусство!

* * *

Решил купить себе палку. Захожу в магазин, прошу: «Покажите мне, пожалуйста, вон ту». Работник прилавка протягивает. Пробую, опираюсь.

— Коротковата! Дайте, пожалуйста, подлинней.

— Все палки, гражданин, стандартные.

— Да что вы! А вот Господь Бог делает людей не стандартными.

Поправив на носу очки, работник прилавка спрашивает меня со строгой иронией:

— Не работает ли ваш Господь Бог лучше советской власти?

Храбро отвечаю:

— Чуть-чуть.

При Сталине после такого ответа работник прилавка уже звонил бы в ГПУ, а ночью за мной приехал «черный ворон».

Мой потомок, вероятно, скажет:

— Неправдоподобно! Невероятно!

Поверьте мне, любезный потомок, при Сталине я бы никогда не был столь храбр в магазине.

* * *

— Папа, когда ты умрешь, я буду носить твои костюмы. Правда?

— А я мамины платья, когда она тоже умрет.

— Папа умрет раньше. У него сердце больное.

— Нет, мама! Нет, мама!…

И сестренка, хлопая в ладоши, прыгает на одной ноге.

— Наследники!… — бурчит папа.

В эту минуту входит мама.

— Что у вас тут за спор?

— Выпори их, пожалуйста.

— А чем они провинились?

Папа рассказывает.

— Ах ты, дрянь! — восклицает мама. И отдирает за уши свою размечтавшуюся наследницу.

— Будешь ты у меня радоваться!… будешь… что я скоро умру!…

А наследник выходит сухим из воды.

— Так он же главный ожидатель, — обиженно говорит папа.

— Оставь!… Ты всегда за эту противную девчонку заступаешься. А ведь она…

Папа перебивает:

— Ты, Варя, совершенно лишена чувства юмора. Впрочем, как и еще девяносто девять процентов женщин.

— Но и тебе, дорогой, не очень-то весело от всего этого.

Украдкой пощупывая пульс, папа признается самому себе, что ему действительно от всего этого не очень весело.

Словом, воскресенье было испорчено.

* * *

В Древнем Риме у ног статуй Свободы, этих прекрасных женщин с величаво поднятой головой, всегда лежала кошка. Она являлась символом свободы.

Великолепный символ!

Умная преданная собака — всегда раб человека. Кошка — ни при каких условиях. Эта маленькая гордая родственница тигра — существо свободное.

Сколько бы ни пытались люди полностью подчинить ее своей воле, это им не удавалось. Львы и тигры более податливы. Кошка поступает так, как ей хочется, как ей нравится, как ей угодно, нагло пренебрегая нашими желаниями. А понимает их превосходно. Право, не хуже собаки.

Не зная души, ума и характера кошки, глупцы говорят: «Глупое животное!» Стоит ли следовать за глупцами?

У нас в доме кошек не заводили. Отец сначала был страстным лошадником, потом — собачником. Это стало семейным. Поэтому с кошкой, вернее с котом, я познакомился поздно, когда мне уже перевалило за пятьдесят.

Вот как это случилось.

Прихожу поздним вечером к Сергею Образцову (он только что вернулся из Чехословакии) и… разеваю от изумления рот: в передней на полу возятся какие-то непонятные зверьки, словно убежавшие с формалистической картины.

— Что это такое?

— Кот и кошка.

— Это… кот и кошка?

— Да.

— Перестань, перестань. Я что-то таких не видывал.

— Вероятно. У нас в России сиамцев как будто нет. Мне их подарили в Праге.

— Это что… супруги?

— Да. Папа и мама. Она уже в интересном положении.

— В таком случае, Сережа, первенца ты подаришь мне.

— Обязательно.

И 7 ноября 1950 года мы его получили.

«Окрещен Сережей», — немедленно протелеграфировал я в Москву.

К вечеру пришла ответная телеграмма:

«Спасибо. Образцов».

Сиамец стал третьим человеком у нас в семье.

Об его поразительном интеллекте я не напишу книгу только из страха, что мне, автору «Романа без вранья», читатели не поверят. Но об одной черте характера сиамца, о его

необыкновенной обидчивости, я все-таки расскажу, причем самую чистую правду, хотя она может показаться неправдоподобной. Всякую ночь Сережа спал третьим в нашей кровати. Сон у него, впрочем, как и у всех его сородичей, был завидным. Ложился он в ногах и спал, не шевельнув ухом, ровно до шести. Точен он был, как старинный будильник Мозера. В шесть часов кот открывал глаза, позевывал, потягивался и нежнейшими шажками направлялся к Никритиной — поцеловать ее. Обязательно в губы. После чего забирался под одеяло, клал морду на ее плечо и опять сладко, с посапыванием, засыпал до начала девятого — это значит до той минуты, как проснусь я и, заложив руки за голову, лягу на спину. Тогда кот переползал на мой живот и, свернувшись в клубочек, нежился на нем еще минут двадцать. Само собой, я не смел шевельнуться Всю эту неизменную ночную процедуру Фрейд бы назвал «ритуалом сна». Боже, до чего же он был точен, этот ритуал!

Но вот однажды мы явились из гостей под утро. Когда наступила минута «поцелуя в губы», Никритина только что заснула. «Отстань, Сережа!» — сердито сказала она и спихнула с кровати нашего «третьего».

Сиамец воспринял это как незаслуженное оскорбление, как измену. А может быть, как покушение на его права, на его безусловную свободу — всегда поступать, как угодно кошачьей его душе. Не повернув головы и важно вытянув хвост, неторопливо вышел он из комнаты. Нет, разумеется, не вышел, а удалился. Именно удалился. И… решительно прекратил с нами всякие отношения.

— Но почему же с нами обоими? — недоумевал я.

— Вероятно, по пословице: муж и жена — одна сатана, — сказала Никритина.

Раньше было так: где мы, там и Сережа. А после этой, нанесенной ему смертельной обиды, стало: где мы — там его нет.

Я нервничал, горевал, сокрушался, подлизывался, заискивал, вымаливал у него прощение. Напрасно! Сиамец был неумолим целую неделю. И только когда он решил, что достаточно проучил нас, милостиво снял опалу. Теперь, слава Богу, все по-прежнему: в доме опять мир, покой, хорошее настроение, улыбка; кот по-прежнему за завтраком, обедом и ужином сидит на своем стуле за овальным столом, лежит у меня на коленях, когда я работаю, слушает наши разговоры и ровно в шесть часов утра целует Никритину в губы.

* * *

Лев Толстой сообщил Лескову:

«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю?»

Это и меня (как Толстого!) преследует постоянно. Но я посамоуверенней Льва Николаевича. Я говорю: «К черту все высосанное из пальца! К чему валять урака и морочить людей старомодными романами и повестушками». Впрочем, люди, по-настоящему интеллигентные, давно уж этой муры не читают, предпочитая ей мемуары, дневники, письма.

* * *

Почти все женщины — сводни. Даже в молодости. Даже если они носят корону. И неплохо носят. Так было с Екатериной II, с Елизаветой Петровной. Обожают это дело, обожают сводничать.

* * *

Станиславский сказал Книппер-Чеховой про «Вишневый сад»:

«Первый акт читал, комедию, второй сильно захватил, в 3-м потел, а в 4-м ревел сплошь».

Вот это читатель! Да и автор ничего себе. От нашего Софронова не вспотеешь.

А Горький в «Вишневом саде» ничего не понял.

«Слушал пьесу Чехова, — пишет он, — в чтении она не производит впечатления сильной вещи…»

* * *

— Говорят, что самоубийство — слабость. Нет, нет! А я уважаю, завидую. Это сила. Завидую Маяковскому, Есенину!

Это сказал мне Шостакович в сорок восьмом году, летом, в Келломяках.

До переезда его в Москву мы хорошо дружили. Не было вечерушки у Дмитрия Дмитриевича без нас и в нашем доме без него.

* * *

Как-то я гулял с одним остроумцем по Невскому. На углу Караванной появился Шостакович.

Остроумец сказал:

— Вот идет самый обыкновенный гений.

* * *

— Чехов — это Пушкин в прозе.

Лучше не определишь!

* * *

Возвращаюсь к назойливым мыслям.

Как-то Лев Николаевич сказал:

«Возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что „Рано утром Иван Никитич встал с постели и позвал к себе сына…“ и вдруг совестно сделается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было и никакого Ивана Никитича ты не знаешь».

Мне думается, что состояние это самое общеписательское, если, разумеется, писатель не форменная дубина. Именно поэтому я перешел от романов к мемуарам, к дневникам.

Сочинять пьесы тоже совестно.

* * *

Философы предпочитали быть холостяками: Кант, Спиноза,

Декарт, Лейбниц.

Не завидую им. Но жену надо с умом выбирать. Это потрудней, чем написать «Критику чистого разума».

* * *

Спиноза, между прочим, считал, что профессиональные политики скорее злоумышляют против людей, чем заботятся о них.

Какое огромное количество людей Сталин сделал подлецами, то есть доносчиками, лжецами, шпионами, палачами, убийцами, изменниками. Друзья стали предавать своих друзей, дети — матерей и отцов, отцы и матери — детей, мужья — жен, жены — мужей, возлюбленные — возлюбленных.

А где Шекспир, где Данте, где Байрон этой непостижимой эпохи?

* * *

Встречаясь с нашими чиновниками, даже высокопоставленными, я невольно вспоминаю слова Кромвеля:

«Меня больше теперь беспокоят дураки, чем мерзавцы».

* * *

Платон говорил:

«Человек любящий божественнее человека любимого».

Конечно!

* * *

Сократ даже философствовать предпочитал с красивыми

людьми. Преимущественно молодыми.

Ну что ж — древние греки за это и поступили с ним по-сталински: сначала посадили, а потом отправили на тот свет.

* * *

Древние Афины были очень маленькой страной. Меньше какого-нибудь нашего района. А какие сверстники были у Платона: Софокл, Еврипид, Аристофан, Фукидид, Ксенофонт, Пракситель, Фидий!…

Это значит, что на гениев бывают эпохи урожайные и неурожайные. Почему? Отчего?… Не забыть бы, в свое время, спросить об этом у Бога. Только он один и может ответить.

* * *

Секст Эмпирик цитировал великого Зенона:

«Если бы женщина была больна и он помог ей, растирая ее тело, — кто счел бы это постыдным? А если мужчина радует ее другим трением и успокаивает этим ее желания и она от этого рожает прекрасных детей, — неужели это постыдно?»

* * *

Писатель больше, чем неписатель, думает о жизни. Это, в сущности, и есть его основное дело — думать «вообще», думать о жизни. Занимаются этим или с пером в руке, или за пишущей машинкой, или лежа на тахте, заложив руки под голову. Суть не в том — где и как… Это второстепенная деталь! Главное же и необходимейшее, как сказано, думать о жизни. Этим писатель и отличается от инженеров, врачей, рабочих, крестьян, футболистов, артистов, художников и всех прочих. Их главное дело в другом. О жизни они могут думать только в свободное время, которого у людей пока не слишком много. А если думать «вообще» не хочется, и не надо. Беды большой нет. От этого,

скажем, футболист не будет хуже бить по воротам.

Один довольно известный газетчик, выйдя из больницы, рассказывал:

— Рядом со мной на койке лежал Лев Григорьевич из обувной артели. Он от радикулита маялся. Как-то просыпаюсь я от его стона. Ну, само собой, спрашиваю:

— Что, Лев Григорьевич, больно?

Он отвечает со стоном:

— Не-е-т.

Недоумеваю:

— А что же вы стонете?

— Было больно. Третьего дня очень больно было.

Надо зарубить себе на носу: уж если стонать, то от сегодняшней боли.

* * *

Про режиссера Хохлова, с сонными глазами посапывающего на репетициях, актеры Большого драматического театра говорили:

— Хохлов умер, но тело его живет.

А другого режиссера, тоже довольно известного и того же «почтенного» возраста, актеры прозвали:

— Бодрый маразм!

Вот бы под конец жизни угодить в золотую середину.

* * *

Мишке Софронову дали трешницу. Он сказал:

— На эти деньги я куплю барбарисок и раздам всем хулиганам в классе. Тогда они меня не будут бить.

И еще: как-то вхожу во двор и вижу такую картину — стоит, подбоченившись, глухонемой Петька, а перед ним на коленях Мишка. И бьет земные поклоны. Они сверстники.

— Миша! Миша! — подзываю я коленопреклоненного.

Он поднимается, неторопливо отряхивает штаны и, пригладив хохолок, подходит ко мне.

— Чего это ты перед Петькой распластался?

— Да так, на всякий случай. Он ведь гроза нашего двора.

Поразительный парень этот Мишка. Очень современен. Далеко пойдет.

* * *

В последней сценической редакции Городничий у Гоголя, как известно, говорит:

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».

Пятнадцать слов.

А в первой редакции было:

«Я пригласил вас, господа… Вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас для того, чтобы сообщить одно чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. И вдруг сего дня неожиданное известие, что отправился из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать все относящееся по части управления и именно в нашу губернию, что уже выехал десять дней назад тому и с часу на час должен быть, если не действительно уже находится в нашем городе».

То есть 78 слов.

Во второй редакции было — 45.

В третьей — 32.

А в четвертой, как сказано, в беловой — 15.

Ну, а у нас? Где они — эти четвертые редакции? Не приучены. Некогда. Заседания в Союзе писателей, совещания, собрания, партсобрания, бюро, партбюро, секретариат, президиум, правление, выборы, перевыборы… Трудятся товарищи писатели. Запыхались.

Вот и результаты!

* * *

Это хорошо сказано про язык: «за белыми березками мокрый теленочек».

* * *

В девятнадцатом году выходил на трибуну Вадим Шершеневич и говорил:

«Видите ли, товарищи, я поэт гениальный».

Примерно то же самое говорили и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.

В больших переполненных залах — умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали. А говорилось это главным образом для них — для дураков.

«Гусей хочется подразнить», — пояснял Есенин.

Древняя традиция! Очень древняя. Вот Иисус еще посмелей был. Забирался на крышу и объявлял, что он сын Бога и сошел с небес.

Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:

— Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы знаем его мать и отца, как же он говорит, что сошел с неба!

Четыре родных брата «сошедшего с небес» — Иаков, Иоссий, Иуда и Симеон — тут же мозолили глаза.

Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, по словам евангелиста, очень удивлялись:

«Как, мол, такое можно слушать!»

Значит, надо признать, что мы не очень-то были оригинальны со своим эпатажем. Ему две тысячи лет без малого.

А распяли Иисуса дураки. Их ведь много, и они всегда очень деятельные, крикливые.

Лев Толстой в 1850 году (запись в дневнике) ставил перед собой три цели, чтобы «поправить свои дела»:

1) Попасть в круг игроков и при деньгах играть.

2) Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться.

3) Найти место, выгодное для службы.

Вот был парень!…

Французы в таких случаях заключают:

«Когда бес стареет, он делается отшельником».

* * *

Есенин говорил:

— Ничего, Толя, все образуется.

Прошла жизнь, и ничего не образовалось.

* * *

Я, пожалуй, эпикуреец.

«Смерть не имеет к нам никакого отношения, — говорил Эпикур, — так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем».

Примерно так же и я отношусь к «не жизни» (по мягкому философскому выражению). Но, когда уходит близкое любимое существо — очень близкое, очень любимое, — я совершенно бессилен и всякое утешительное умничанье вызывает у меня бешеную злобу.

* * *

Нетерпимость? Конечно! Какое же без нее искусство?

«…Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Гюго, Дюма… об них мы, не задумываясь, скажем, что они, может быть, отличные, превосходные литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразеры, но вместе с тем мы, не задумываясь же, скажем, что они и не художники, не поэты, но что их невинно оклеветали художниками и поэтами люди, которые от природы лишены чувства изящного».

Да это же Белинский написал. Какая прелесть! Какая нетерпимость! — Да — Неистовый!

А у нас?… «Будь паинькой. Люби всех классиков. Чти Алексея Максимовича и Владимира Владимировича».

Скука, скука!

* * *

Аристотель говорил: «рабы и другие животные».

Как будто это про нас сказано. Именно: выдрессированные

животные.

* * *

Сталин превосходно знал не только Макиавелли, но и Аристотеля.

Вот что писал этот древний грек о мерах, способствующих «сохранению тирании»:

«Необходимо — угнетение людей, возвышающихся над общим уровнем, вытеснение людей мыслящих… строгий надсмотр за всем, что возбуждает в гражданах предприимчивость и взаимное доверие, запрещение всех тех обществ, в которых может быть обмен мыслей; напротив, дозволение всего того, что способствует к возможно большему разобщению граждан… Не оставаться в неведении того, что говорят или что делают подданные, но иметь соглядатаев… сеять раздоры и поселять вражду между гражданами… ссорить друзей между собой… и чтобы подданные, занятые каждодневной работой, не имели разговоров».

Что из этого упустил Сталин? Ничего. Все использовал.

Поразительно!

* * *

Один болтун, заглянув ко мне «на огонек», просидел часа три, безостановочно тараторя литературные сплетни.

Проводив дорогого гостя до парадной двери и крепко пожав на прощанье руку, я сказал ему, исходя злобой:

— Всего доброго. Заходите почаще. Не забывайте.

И, вернувшись в кабинет — усталый, с головной болью, — повалился на диван в полном изнеможении.

Вошла Никритина.

— Что с тобой, Толя? — спросила она испуганно. — Почему ты такой бледный? Тебе плохо?

— Ничего, ничего. Сейчас отойду.

— Но что случилось? Что у вас тут было?

Я пролепетал голосом умирающего:

— Он меня говорил. Два часа, проклятый, меня говорил.

Никритина рассмеялась.

С этого тяжелого дня эта фраза утвердилась в нашем доме.

* * *

Из всех братьев Толстых один только Лев не кончил курса в университете. Сергей (старший) очень любил его, однако называл:

«Самый пустячный малый!»

А одевался будущий Саваоф у лучшего в Петербурге портного — Шармера.

* * *

Очень хорошо: мету, мету — не вымету; мою, мою — не отмою; рублю, рублю — не вырублю; и в сундук не запереть!

Что это? — Солнечный луч.

Им — этим лучом — обязана быть литература, а иначе на черта она нужна?

* * *

Глядя, как наш сангвиник Юрочка Герман ест или даже говорит об еде, вспоминаю:

«Назначение человека — обедать».

Его жена Танечка говорит:

— Хочу иметь очень много денег. Чтобы класть, класть и класть на сберкнижку.

Отвечаю:

— Я, Танечка, тоже хочу иметь много денег. Чтобы брать, брать и брать со сберкнижки.

* * *

Ранняя весна, вечер, через открытую форточку со двора доносятся звонкие детские голоса. Это лучше самой хорошей музыки.

Только что прошел дождь. Малыши прыгают, по лужам.

И я так же звенел, прыгая по лужам. Потом мой сын… А вот внучат у меня нет. Это ужасно.

* * *

Мне скоро шестьдесят, черт побери! И у меня появилось странное чувство, что меня отрезали. Так отрезывают на любительской фотографии чужого человека, случайно попавшего на снимок.

* * *

Князь Вяземский заметил:

«На русской сцене мало смеются и мало смешат. Мы почти можем сказать, что русской комедий не до смеха».

Точно. Мне даже в моих маленьких комедиях не до смеха. Все караю, караю. А вместе с тем совершенно согласен с тем же Вяземским, что литература ни в коем случае не должна быть «учреждением, параллельным уголовной палате».

* * *

Вересаев рассказывает:

"Какой-то актер спросил Андреева:

— Леонид Николаевич, мне очень интересно, на какую часть нашего организма, по-вашему, действует музыка?

Глаза Андреева озорно блеснули:

— Это я вам могу сказать только на ухо: тут дамы!"

Вот бы написать книгу «Хула старости». Я ее, проклятую, ненавижу! Какое презрение она вызывает во мне! Какое

отвращение! Какую брезгливость! И не только за телесное, за физическое, за эти сморканья, сипенья, покашливанья, похаркиванья и ватку в ушах. За эти обезьяньи морщины, жидкие ноги, тугой желудок, тугие уши, подслеповатые глаза, сутулые спины, облезшие черепа, рты со вставными челюстями и пузырьками слюны в уголках дряблых губ. Нет, я терпеть не могу и стариковскую душу — сварливую, чванливую, завистливую на молодость, обозленную на нее или сопливо-умиленную. И то и другое гадость. А ее хваленая мудрость? Вздор! Только простаки могут принять за мудрость скучный и сухой опыт.

Друзья мои, молодые мои друзья, неужели и в самом деле вы уважаете старость? Расшаркиваетесь перед ней? Развешиваете уши?

К черту ее! В шею! Пинок в зад!

И не верьте, пожалуйста, древним философам, классическим обманщикам, которые называли гнусное десятилетие от шестидесяти до семидесяти — «желанным возрастом».

* * *

Под Новый год, как заведено, произносили тосты. Встречали на этот раз у нашего старого Эйха. Разумеется, и я что-то «прогостил». Евгений Львович Шварц (для нас Женя) взглянул на меня из-под желтых нависших век скорбно-лукавым взглядом и сказал со вздохом:

— Когда уж ты перестанешь безобразничать!

Действительно, пора. Мне ведь шестьдесят скоро.

* * *

Я пишу сравнительно грамотно. Не то что рафинированный Виктор Шкловский. Он, к примеру, вот так выводит: «исскуство». Но я справляюсь почти без грамматических ошибок, не потому что знаю, как надо писать по правилам, а просто — если поставлю в слове неверную букву и взгляну — «Нет, некрасиво что-то!» — и сразу исправлю на красивую букву, то есть верную.

Пушкин и Лермонтов — два наших великих прозаика — умерли перед началом своей большой прозы.

«Пла-акать хочется», — говорил Есенин в таких случаях.

* * *

Прелестен воровской язык: набрать снегу — это украсть белье, плевательница — револьвер, подсолнух — золотые часы, караулки — глаза, колокольчик — собака, крыша — шляпа, с разговором — с перестрелкой и т. д.

* * *

Проехали деревню. Собаки и собачонки, задрав хвосты, словно переругивались и сквернословили.

А один рыжий, косолапый, вихрастый, весь в репейниках, так и посылал нас:

— На!… На!… На!!!

* * *

Кинька довольно реалистично нарисовал трубящего пионера, но с одной рукой.

Спрашиваю:

— Почему у твоего трубача нет второй руки?

— Для чего же она? Ей делать нечего.

Это и есть секрет прекрасного художественного реализма.

* * *

Алексей Толстой тогда жил в Царском Селе. Там он и справлял свое пятидесятилетие. Водку в его доме пили стопками. Рюмки презирали. Среди ужина я нагнулся к Никритиной. Всю жизнь она была моим цензором, к счастью, либеральным.

— Нюшка, я сочинил эпиграмму. Послушай:

Толстовых род, знать, Аполлону люб.
Их на Олимпе лес. Счастливая судьбина!
В лесу том Лев — могучий дуб,
А ты — могучая дубина.

Она улыбнулась:

— Ничего. С перчиком.

— Как ты думаешь, можно ее сейчас прочесть вслух?

— Да ты что, Длинный, совсем опупел? — И добавила довольно строго: — Пора уж немного остепениться.

Так погибла и эта моя эпиграмма.

* * *

В город к матери приехала дочка, годиков так двенадцати. Очень ей понравилось: фонари, автобусы, витрины, кино… Через две недели мать отправила девочку обратно — «хату беречь».

Та вернулась и через несколько дней сожгла всю деревню — чтобы нечего было беречь и жить в городе.

* * *

В 1918 году золотоливрейный старый швейцар в изразцовой уборной Большого театра, презрительно кивая на нового зрителя, говорил мне:

— Да какие ж это люди — мочатся и рук не моют!

Доходы швейцара тогда очень упали.

* * *

Ночь. Я прохожу по жесткому вагону. В три яруса, используя и полки для чемоданов, спят люди — старые и молодые, мужчины и женщины. Почесываются, похрапывают, посапывают. Меня поражает, что почти все спят с полуоткрытыми ртами. По напряженным складкам на лбах и между бровей я вижу, что во сне они о чем-то думают. Но не головами, а позвоночниками. Поэтому лица у них неприятные, полуидиотские. Некоторые пускают слюну и во сне улыбаются. Тоже как полуидиоты. И тут я вспоминаю прекрасные лица покойников, с опущенными веками цвета церковного воска. Лица, лишенные всякой мысли. Чистая форма. Как она бывает благородна! Как хороша! Эта чистая форма, не потревоженная мыслями головного и спинного мозга.

* * *

У Таировых за столом затеяли разговор о демократии. В нашем понимании и в американском.

Насмешливо почесав свои рыжие бакенбарды, Карл Радек сказал:

— Конечно, и у нас могут быть две партии… одна у власти, другая в тюрьме.

И в столовой стало тихо. Никому больше не захотелось разговаривать о демократии.

Радек мне понравился.

* * *

Куртизанка сказала Жан-Жаку Руссо, принявшемуся изучать ее тело:

— Оставь женщин и займись математикой.

А Рембо овладел несколькими туземными диалектами самым приятным способом — он завел нечто вроде гарема из женщин, принадлежащих различным племенам.

— Я приобрел целую серию словарей, переплетенных в кожу, — говорил он.

Француз!

* * *

Умнейший из наших философов Григорий Саввич Сковорода говорил:

«Пес бережет стадо день и ночь по врожденной любви и терзает волка по врожденной склонности. Ни конь, ни свинья не сделают сего, понеже не имеют природы к тому».

А человек?… У каждого, разумеется, своя врожденная склонность. Однако, во вред жизни, наши политики упрямо пытаются сделать из коня свинью и собаку из волка, которому по природе своей надлежит драть овец. А все потому, что людей считают и называют «кадрами».

Сковорода учил, что «нужное не трудно, а трудное не нужно».

В моей жизни это стало первейшей заповедью. И до чего ж здорово ругался этот великий философ:

— Рухлядь!… Смесь!… Сволочь!… Сечь!… Лом!… Сплочь!… Хвост!… и т. д.

А это разве не великолепно:

«Телишко мое есть маленькая кучка, но и та мне скучна».

Умер «старец» Сковорода на мешке с книгами.

* * *

Наши критики взяли меня в обработку со дня литературного рождения. Пенза не в счет, а в Москве я впервые напечатал цикл стихов в альманахе поэтов «Явь» (1918 г.). Соседствовали Андрей Белый, Борис Пастернак, Есенин и др. Но навалились почему-то на меня одного. Кампанию открыла «Правда». Сразу же после появления в книжных витринах «Яви» на первой странице могущественной газеты были тиснуты две колонки под внушительной «шапкой» — «Оглушительное тявканье». А за «Правдой», как и следовало ожидать, «пошла писать губерния!».

В таких прискорбных случаях наш брат обычно находит себе утешение в высоких исторических аналогиях. Меня, как помнится, больше других утешал Антон Павлович Чехов. После выхода в свет его книги «Пестрые рассказы» писали так: «Чехов, увешавшись побрякушками шута…» «Книги Чехова… представляют собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта…» и т. д.

Много лет спустя Антон Павлович жаловался Горькому и Бунину: «Один критик написал, что я умру пьяным под забором».

Чудно!

* * *

Какие острые, умные речи произношу я… на улице, на Литейном, на Загородном, при фонарях, при звездах, шагая к себе на Бородинку после очередного собрания в Союзе писателей.

— Ба! Мысль! — ударяю себя по лбу, поднимаясь домой на лифте. — Напишу книгу: «Непроизнесенные речи».

И тут же вздыхаю:

— А где печатать? Когда? Опять после смерти? К черту! Надоело!…

И, конечно, не пишу и не напишу.

Сколько таким образом у меня погибло романов, пьес, стихов.

* * *

Зимой 1942 года Никритина с бригадой большедрамовцев была на московском фронте, под Сухиничами. Армией командовал Рокоссовский. Он был необычайно любим и солдатами, и офицерами, и колхозными старухами, и ребятишками. Можно было часами ехать по лесной дороге и видеть букву "Р", вырезанную на коре деревьев.

После выступлений артистов на передовых позициях Рокоссовский устроил для них банкет.

Водку, конечно, пили стаканами.

Гости и командиры шумели:

— За Рокоссовского!… За Рокоссовского!…

А тот, не так давно выпущенный из тюрьмы, сквозь зубы сердито кидал:

— За Сталина!… За Сталина!…

Он хорошо понимал, зная азиатскую ревность нашего «фюрера», что эти тосты «За Рокоссовского!» могут ему недешево обойтись. Доносчиками-то кишмя кишела социалистическая республика.

После ужина стали танцевать.

Рокоссовский пригласил Никритину.

Так как женщины считают, что бестактность разрешена им самой природой, после первого круга Никритина спросила своего кавалера:

— Вот вы, Константин Константинович, ни за что ни про что сидели в тюрьме. Ну и как — простили это?

Рокоссовский ответил дипломатично:

— Да. Родина — как мать. А мать все равно простишь, если она даже несправедливо наказала.

Все когда-либо сидевшие за решеткой, как я заметил, потом годами обожают вспоминать это. Одни с юмором, другие — лирически, третьи — зло.

Крутясь в вальсе, стал вспоминать и Рокоссовский:

— Подлец следователь однажды спросил меня: «А как, проститутка, ты пролез в нашу партию?»

— И вы не проломили ему череп?

— Нет. Подлец вовремя отскочил. А табуретку я действительно уж поднял над башкой.

Вальс продолжался.

— Между прочим, с нами в камере сидел один ваш известный режиссер.

— Мейерхольд? — взволнованно спросила Никритина.

— Нет. Алексей Дикий. Мы его били «в темную».

Никритина знала, что так говорят, когда бьют, накрыв шубой.

— За что?

— За дело. Он был вреднейшей «наседкой».

В тюрьме так называют осведомителя, подсаженного в камеру.

* * *

Полуцыган Сергей Сорокин, после вальса, играл на гитаре и пел старинные цыганские романсы. Я еще не встречал равных ему в этом. На своей книжице, некогда подаренной Сорокину, я написал:

Я люблю гитару Вашу,
У нее душа большая.
Ни о чем меня не спрашивает,
Только очень утешает.
Дождик, дождик в Ленинграде.
Не купить ли с горя зонтик?…
— Друг Сорокин, дружбы ради,
Сердце песней урезоньте!…

И он «урезонивал».

Подперев щеку кулаком, Рокоссовский слушал Сорокина. И плакал.

Потом — за столом — Никритина говорила с командиром о храбрости.

— А что такое храбрость? — задумался Рокоссовский. — Вот когда меня бомбят, я дисциплину нарушаю — не прячусь в щель. Стою, гляжу на небо… Это надо. Для бойцов надо. А ноги мои так и бегут, и бегут. Бегут… стоя на месте. И душа в пятки уходит. А надо улыбаться. И я улыбаюсь. Вот она — храбрость! — сказал он с усмешкой. — Ее, Анна Борисовна, эту храбрость, плохие писатели придумали.

— Рокоссовский, — рассказывала мне Никритина, — по-польски элегантен. Несмотря на свой громадный рост. Он выше тебя. Но глаза у него не элегантные. Они с внутренней темнинкой. Глаза у него русские.

— Вероятно, Нюша, они стали русскими. После этих знаменитых допросов в сталинской тюрьме.

— Возможно.

* * *

Наша приятельница — крохотная, горбатенькая, сорокалетняя Валечка — доцент, литературовед — неожиданно вышла замуж. Очень уж неожиданно. Стремительно. Где-то познакомилась с солидным немолодым человеком, только что вернувшимся из ссылки, а через несколько дней он (уже в качестве мужа) переехал в ее маленькую комнату с узкой девической кроваткой, застланной белым пикейным одеялом.

И вот Валечка звонит по телефону:

— В понедельник мы с Яковом Захаровичем собираемся к вам… С визитом…

В телефонную трубку слышно, как супруг поправляет ее:

— Не с Яковом Захаровичем, а с Захаром Яковлевичем.

— Прости, милый, я забыла, как тебя зовут, — весело извиняется Валечка.

* * *

В театре, если смотреть сверху, предательски поблескивают из партера не только сегодняшние лысины и плеши, но и будущие.

Пожалуй, и в литературе полезно смотреть на людей с галерки.

* * *

Париж. Небольшой отель на Рю Лористон. Мадам, что сидит за конторкой, говорит мне со шпилечкой:

— Вы, русские, очень любите мыться!

— Да. Любим.

— Я заметила, месье, что вы каждый день принимаете ванну.

— А вы, мадам? Французы?

— О нет, месье! Для чего же нам часто мыться? Ведь мы чистые.

Поразительная нация.

* * *

Я минут пять рассказывал официанту, как мне приготовить «свиную отбивную».

Он с внимательнейшей мордой, кивая, говорил мне:

— Слушаюсь!…

— Понятно-с!…

— Непременно-с!…

— Так-с!…

— Не извольте беспокоиться, все будет по вашему вкусу.

Потом подошел к окошечку и крикнул:

— Один раз свиная отбивная!

Этот урок, полученный в задрипанной столовке, мне в жизни пригодился. Причем я вспоминал и вспоминаю его в самых разнообразных случаях.

* * *

Рабле — этот медик, юрист, филолог, археолог, натуралист, гуманист, богослов — считался самым блестящим собеседником «на пиршестве человеческого ума».

За несколько минут до смерти он сказал:

— Закройте занавес. Фарс сыгран.

Боже мой, он украл у меня предсмертную фразу!

* * *

Меня веселит известное мнение Толстого, кинутое им Чехову:

— Вы знаете, я терпеть не могу шекспировских пьес, но ваши еще хуже!

* * *

Умный Владимир Нарбут (был такой стоящий поэт, тоже поставленный к стенке Сталиным) как-то сказал про меня: «Мне нравится Мариенгоф. В нем говна много». А вот в Шаляпине этого самого достоинства куда было побольше! Да и позловонней!

Фу!

ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ ГОСПОДИНУ
(управляющему конторой императорских театров)
от солиста его величества
Федора Ивановича Шаляпина
12/25 ноября 1913

ЗАЯВЛЕНИЕ

Находясь на службе в императорских Московских и Петербургских театрах в течение более чем пятнадцати лет, я с великим долготерпением следил за наградами, коими пользуются даже капельдинеры вышеназванных театров, то есть получают ежегодно медали, ордена и прочие регалии; получают эти знаки отличия буквально все; я же благодаря каким-то темным интригам конторы и других, заведующих этим делом, отличия знаков лишен. Не понимая, за что именно я состою в игнорировании, покорно прошу Ваше высокородие немедленно представить меня к наградам и выдать мне какой-нибудь орденок за № конторы и приложением печати.

Солист его величества
Ф. Шаляпин

Вот! Только ему в жизни и не хватало, что паршивенького орденочка от идиота-царя!

Говно!

* * *

Мы жалуемся, удивляемся, негодуем на плохих матерей. Природа! Проклятая природа! Ведь и куры-наседки, куры-матери не одинаковые. Одна хорошо ухаживает за выводком, а другая, как злая мачеха: топчет своих цыплят, плохо укрывает их, поедает их корм, а иногда даже свирепо убивает. Словом, хорошо выращивают потомство не более 50% кур. Среди женщин примерно тот же процент.

* * *

Петрарка, как известно, воспевал Лауру двадцать один год. А она все рожала и рожала детей своему мужу, какому-то авиньонцу. Одиннадцать нарожала. Дело для нас простое, понятное. Как-никак Петрарка свой брат из пиитического цеха. Ему, разумеется, нужна была тема, а вовсе не женщина. Женщины и без Лауры были и, как положено, от него брюхатели. Когда Лаура умерла (от чумы), Петрарка продолжал посвящать ей сонеты.

Тема бессмертна!

* * *

Черт знает кого и черт знает за что хвалят журналы и газеты…

Впрочем, нам не привыкать! У нас ведь и в сказках дурак называет лягушку — зеленой птичкой.

* * *

«Роман без вранья» я написал меньше чем в месяц. На даче, под Москвой, в Пушкино. Трудился, почти как Флобер над «Саламбо», когда тот приказал своему слуге разговаривать с ним только по воскресеньям, да и то, чтобы сказать ему всего три слова: «Сударь, сегодня воскресенье».

* * *

Французы заметили, что у Мольера сорокалетний мужчина всегда — рогоносец, старик.

До чего же приятно изменилось время! Теперь пятидесятилетние и шестидесятилетние мужчины, седые и в лысинах, сами Дон-Жуаны, не без успеха наставляющие рога молодым мужьям.

В старину бы сказали: духом к небу парят, а ножками в аду перебирают.

«Как хороши, как свежи были розы!»

Это первая строчка стихотворения Мятлева.

Многие ли теперь знают фамилию этого автора?

* * *

«…Лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательней последней, и потому, например, лично на меня ваши пьесы (стихи) без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией…»

Это же не Мариенгоф писал Есенину, а Чернышевский… и кому? Некрасову!

* * *

В двадцатых годах у нас в Москве спрашивали:

— Кому на Руси живется хорошо?

И отвечали:

— Максиму Горькому в Сорренто.

Он тогда был невозвращенцем. С Лениным не сговорился. А вот со Сталиным, видите ли, и с его Ягодами нашел общий язык!

* * *

Чистейшего Чехова цензура запрещала «по цинизму и сальности».

Она всегда идиотка, эта цензура. Если она будет существовать и при коммунизме (а это не исключено), так идиоткой и останется.

Умнеют-то машины, а не люди.

Вот три века тому назад, к примеру, Мильтон не только понимал, но и требовал, чтобы книга рождалась так же свободно, как человек, чтобы на ней стояло лишь имя автора и издателя и чтобы она, как человек, сама за себя отвечала.

Ан, нет! И через триста лет какому-нибудь невежде и подлецу у нас платят деньги, чтобы он, шлепнув блямбу, изволил надписать «разрешено к печати».

* * *

Достоевский писал жене: «Роман Толстого (про Анну Каренину) довольно скучный и уж слишком не бог знает что. Чем они восхищаются, понять не могу».

Вот они — современники. И какие! Достоевский!

* * *

Европейские ученые называли российскую революцию Петра Великого «самым красивым опытом XVIII века».

Опыт Владимира Ильича не менее красив.

* * *

Смерть это факт. Иван Петрович любил говорить:

«Перед господином фактом сними шляпу».

Я человек вежливый — снимаю.

А какое-то дурацкое дерево макроцамия, растущее в Австралии, живет 15 000 лет!

* * *

Микеланджело прожил 88 лет, Бах — 88, Тициан — 99. О чем это говорит? Ни о чем… А сколько гениев умерло совсем молодыми людьми.

* * *

Древние египтяне для удлинения жизни принимали рвотное и старались побольше потеть. При встрече они приветствовали друг друга словами:

— Как вы, сударыня, потеете?… Как вас рвет?…

Все условно. И очень по-разному. Но авторы исторических романов и пьес даже таких пустяков не понимают. Они только переодевают своих героев: вместо римской тоги — боярский кафтан, потом камзол с короткими штанами, потом клетчатые брюки со штрипками.

* * *

Выдающийся врач XVII века Сиденгэм утверждал, что прибытие в город паяца значит для здоровья жителей больше, чем

десяток мулов, нагруженных лекарствами.

Вот это был невропатолог!

* * *

Не анекдот. Везут покойника; случайный прохожий спрашивает:

— Отчего помер? От рака?

— Нет.

— Инфаркт?

— Нет.

— Туберкулез?

— Нет, от гриппа.

Случайный прохожий машет рукой:

— А! Это пустяки!

* * *

— Возмутительно! — негодует Никритина. — Он же его лучший друг! Спать с женой своего лучшего друга!…

И разводит руками.

— Ну чему ты, Нюха, удивляешься? Это было, есть и всегда будет.

И шикарно цитирую пророка Иеремию:

«Они откормленные лошади: каждый из них ржет на жену другого».

* * *

«Мне скучно, бес».

Милый Пушкин, как я вас понимаю!… Но вам же тогда двадцать шесть лет было! А каково на седьмом десятке?

* * *

«Записки Бога»!… Нет, я уже не пишу их. Поздно. А жаль все-таки.

Примерно четверть века тому назад они были у меня задуманы, продуманы — эти «Записки». Собрал материал. Все казалось: поднакоплю немного деньжат (годика на полтора) и засяду. Но никак не мог накопить больше, чем на месяц. Это в самое благополучное время, когда еще не запрещали все, подряд все, что я писал, — прозу, стихи и для театра.

Вот вкратце эти «Записки Бога»:

Голгофа. Стража, конечно, и там была, но деньги, вино и поцелуи тоже издревле существовали. Женщины, обожавшие Иисуса, сняли его с креста прежде, чем он умер. На крестах умирали от голода, а не от легких ран на ступнях и ладонях. Учеников и в помине поблизости не оказалось — они покинули своего учителя еще до того, как он поднялся на Голгофу, таща на плечах тяжелый крест. Покинул Иисуса даже Иоанн, его юный нежный возлюбленный, которого все называли — «маленький». Про таких во «Второзаконии» упомянуто: «Мужчина не должен одеваться в женское платье». А в книге «Левит» сказано: «Не ложись с мужчиною, как с женщиной». Спасенному Иисусу пришлось бежать без оглядки из фанатичной страны, где людей за философию распинали, сбрасывали с крутых обрывов и побивали камнями. Он не простился даже с матерью, перебравшейся после смерти Иосифа в Кану. Не простился с братьями и с замужними сестрами, жившими в Назарете.

Как известно, Галилею пересекала старинная проезжая дорога — по ней он и зашагал с посохом в руке. Его привлекала Греция, привлекали Афины — город философов. Там Иисус и поселился, смешавшись с говорливой толпой стоиков, эпикурейцев и киников. Красивые юноши были его друзьями. Прошли годы. Уже слегка засеребрились волосы Иисуса. И вот в афинском ареопаге неожиданно появился тщедушный рыжий человек с красными веками. Это был апостол Павел. Он привлек внимание горожан красноречием и горячностью, чрезмерной даже для греков. Иисус, опершись на посох, остановился послушать оратора. «Что такое!» Он услышал рассказ о себе. Рассказ фантастический, наивный, приукрашенный какимито глупыми чудесами, вызывавшими смех у афинян.

Вернувшись домой, Иисус сказал себе: Пожалуй, стоит написать «Записки Бога». И написал. То есть должен был написать я за него.

* * *

С самого раннего детства и до глубокой старости мы больше всего любим, когда день быстро проходит. И обычно стараемся для этого делать все, что можем. А когда не удается, вздыхаем: «Боже, как медленно тянется время!» Но ведь быстро пробегающие дни — это быстро пробегающая жизнь. А она и так не слишком длинна. К сожалению, мы начинаем ощутительно понимать это только на пороге, перед дверью, настежь открытой для ухода.

* * *

Вчера был у меня Н. В. Он говорил со всеми знаками препинания, как школьник, получающий за сочинения круглые пятерки. Он доктор филологических наук. Он заведует кафедрой русской литературы. Он владеет девятью языками.

Он окончил четыре факультета. И… два часа я подыхал с ним от скуки. А в голове у меня вертелась фраза Чехова:

«Университет развивает все способности, в том числе — глупость».

* * *

Шаляпин называл критику хавроньей. Очень точно. Была, есть и, очевидно, будет ею. И что поразительно — не стареет, не меняется. Во всяком случае, наша российская. Бессмертная хавронья.

* * *

«Когда совесть раздавали, его дома не было».

Это сказано про писателя Константина Симонова.

* * *

Часто бывает так: превосходно знаешь, говорить не следует, не надо. А тебя словно черт изнутри подмывает: «Скажи!… Скажи!…» «Нет! — убеждаешь себя. — Молчи!» А изнутри: «Скажи, скажи». Ну в конце концов и брякнешь. Не хочешь, а брякнешь.

Встретил сегодня в театре приятельницу. Давненько не виделись. Отношусь к ней наилучшим образом. Милая и красивая женщина понабрала мяса и жиров. Это, разумеется, не красит, не молодит. Располневшая красавица сама это превосходно знала. Ну и помолчать бы. К чему портить настроение приятельнице? Так нет! Черт меня за язык дернул раз, два, три, а на четвертый я уже не сдержался и ляпнул, как в комедии:

— Э, мать, да ты за эти два года раздалась, как корзина!

Моя приятельница, до того веселая, кокетливая, счастливая, сразу потускнела, увяла, скисла.

— Да, дружок… — непритворно вздохнула она, — старею, старею…

Ну к чему ляпнул? К чему разогорчил хорошую женщину!

Вот свинья!

* * *

Никритиной

Тропинка… Берег… Подойду к окну ли…
Лежу… Стою…
А мысль одна: "Вот, милая, и протолкнули
Мы жизнь свою".

* * *

Средние писатели — вроде Тургенева, Гончарова, Гюго, Дюма — после смерти довольно быстро начинают превращаться сначала

в писателей для юношества, потом для отрочества.

А вот с Толстым, Чеховым, Достоевским, Мопассаном, Флобером ничего не делается, никаких превращений.

Горький, конечно, принадлежит к плеяде писателей XIX века. Только он худший из лучших, самый маленький из самых больших.

* * *

С некоторых пор я в жизни делаю только то, что мне хочется, а не то, что надо. И получается как будто получше. Но, конечно, не в смысле карманного благополучия.

* * *

На концерте встретился с Шостаковичем в филармонической ложе. На минуту-другую мне показалось, что его лицо, руки — спокойней, сдержанней, чем обычно. Я обрадовался. Зря обрадовался. Когда заиграл оркестр, Дмитрий Дмитриевич стал нервически покусывать нижнюю губу и чесать — то нос, то подбородок, то возле ушей, то брови. Захотелось с нежностью взять его руки в свои, гладить их, пожимать. Любящая женщина, вероятно, так и поступила бы. Но я никогда не видел возле него любящей женщины. Очень любящей. Не видел женщины с большим сердцем, которое было бы отдано ему. Никто другой из людей, с которыми я в жизни встречался, не имеет на это такого абсолютного права.

После концерта мы сговорились с Дмитрием Дмитриевичем, что он придет к нам на пельмени.

К сожалению, вместо него пришла открытка:

"Дорогие Анна Борисовна и Анатолий Борисович!

После концерта мне пришлось выехать в Москву и поэтому я не позвонил Вам. Надеюсь скоро быть опять в Ленинграде, и тогда мы с Вами встретимся.

Ваш Д. Шостакович".

Прошел год, но мы еще не встретились.

Мне рассказывали, что он женился на молодой приятной женщине, читающей лекции по истории партии. Берет ли она его

руки в свои и с нежностью гладит их? Дай Бог!

А вот Зинаида Райх покровительственно похлопывала по плечу седовласого Мейерхольда. Это в лучшем случае.

В худшем она, как царевококшайская примадонна, орала при актерах и актрисах на своего старого мужа — великого «Доктора Дапертутто»:

— Ничтожество!… — орала она. — Бездарность!…

Что давало ей это омерзительное право? Кровать? Да?

«О мертвых — или хорошо, или ничего». Какая сентиментальная чепуха! Да еще древнеримская.

По-моему, о мертвых надо говорить так же, как о живых, — правду. О негодяе, что он бывший негодяй, о стоящем человеке, что он был стоящий.

* * *

Когда-то говорили: «Тайна исповеди». И только со временем поняли, что это вздор. Попы — православные, католические и все прочие — были болтунами и никакой «тайны исповеди» не существовало. Не существует и знаменитой «врачебной тайны». Лекари тоже болтуны. А что уж говорить о наших житейских тайнах, маленьких и больших? Право, только дураки просят: «Дай честное слово, что ни одной живой душе не скажешь». Или: «Поклянись счастьем матери». Разумеется, и «слово» дадут, и «поклянутся», и при первом соблазнительном случае с наслаждением выложат, сказав:

«Только дай слово, что ни одной живой душе».

* * *

Терпеть не могу жить на даче. Терпеть не могу даже приезжать в гости на дачу. Заборы, заборы, заборы и малособлазнительные домики уборных.

— Какой красивый закат!

Отвечаю:

— Да. Очень красивый. Розовый, как ветчина.

Очень интеллигентная хозяйка дачи взглянула на меня с ужасом:

— А еще поэт!

* * *

Я опять и опять ковырялся в третьей неладившейся сцене «Шута Балакирева», а Кирка (ему тогда было двенадцать лет), взяв с моего рабочего бюро том Л.Н. Толстого, стал с середины читать его, важно развалившись в широком кожаном кресле, что стояло в эркере моего семиугольного кабинета.

— Вот ерунда!

— Что ерунда?… — не поднимая глаз от рукописи, рассеянно спросил я.

— Да этот… твой Лев Толстой.

Я обернулся. Рассеянности как не бывало.

— Что?… Толстой ерунда?…

С мнением Кирки я уже привык считаться.

— Ну да!

И малыш прочитал вслух из статьи о непротивлении злу, где говорилось, что если тебе дадут по левой щеке — подставь и правую.

— Дурак! — заключил Кирка.

Это относилось к Льву Николаевичу, к моему богу литературы, к Саваофу.

Я даже растерялся.

А малыш дополнил:

— Попробуй-ка у нас в классе — подставь правую, когда тебе звезданули по левой… Попробуй-ка… Так разукрасят!

И Кирка презрительно отбросил книгу.

А вот еще разговор.

Мы всем семейством, то есть втроем, пьем утренний кофе.

— Кируха, что ты сегодня такой мрачный?… — участливо спрашивает мамаша, как всегда торопящаяся на репетицию.

Малыш, посапывая, молчит.

— Ну, брат?… — встреваю в разговор я. — В чем дело?… Выкладывай.

— В школу идти неохота, — нехотя отвечает он. — Ску-ука!

— Скука?… — переспрашиваю я. — Да откуда ей взяться?… Сколько вас в классе-то?

— Тридцать пять.

— Вот!… У тебя там тридцать пять друзей, а ты — «ску-ука».

— Непонятно, непонятно… — уже думая совсем о другом,

говорит торопящаяся, всегда торопящаяся, мама.

Кирка смотрит со снисходительной иронией на нее, укоризненно на меня, встает из-за стола, целует ее в губы, меня — в лоб, как старший младшего, и говорит коротко:

— Не тридцать пять друзей, а тридцать пять врагов.

А на пороге задает философский вопрос:

— Разве, папа, и в жизни не так?

В те дни меня в очередной раз за что-то прорабатывали газеты, и малыш огорчался, переживая это гораздо сильней и глубже, чем я.

* * *

Виктор Шкловский был человеком благородным, хоть и не слишком мужественным. В жилах его текла кровь революционера. Тем не менее Сталин его почему-то не посадил. В конце тридцатых годов это удивляло и самого непосаженного, и его друзей.

Округляя и без того круглые глаза свои, приутихший формалист шепотом говорил:

— Я чувствую себя в нашей стране, как живая чернобурка в меховом магазине.

* * *

"Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение — «Гамлет».

Вот какого был мнения Толстой о «Гамлете»! О моем «Гамлете»! О «Гамлете», которого я считаю вершиной мирового драматического искусства.

Ну?… И кто из нас прав — я или Толстой? А хуже всего, что он не кривлялся, не эпатировал, а действительно так думал.

* * *

Очень любят посочувствовать чужому горю, постонать возле, получая при этом удовольствие и от своего сочувствия, и от чужого горя.

Стоящий человек не вздыхает, не стонет, не сочувствует, а делом помогает в беде.

Но такие не слишком часто попадаются.

* * *

Вспоминаю свою бабушку. Она ходила всегда в черном, шуршащем. И на белой голове, и на плечах у нее лежали черные кружева. Я привык, что все про нее говорили: «О, какая она была красавица!» А малознакомым гостям мама показывала фотографию крупной стройной женщины с огромными темными глазами, нежным овалом лица и тонким носом. Почти весь день бабушка сидела у окна с книгой в большом удобном кресле, положив ноги на мягкую ковровую скамеечку. А когда она опускала книгу на колени, чтобы протереть платочком золотые очки и взглянуть на улицу или понюхать из серебряного флакончика какую-то крепкую душистую соль, — она вздыхала. Глубоко вздыхала. Бабушка казалась мне очень старой. Она умерла на шестьдесят первом году жизни от разрыва сердца.

Когда бабушка вздыхала, я обычно спрашивал ее:

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет, Толечка.

— Тебе очень грустно?

— Нет, Толечка, не очень.

— А почему же ты вздыхаешь?

Вместо ответа она с улыбкой гладила меня по голове.

И вот сегодня я в ее возрасте. Правда, я не сижу целыми днями в кресле, положив ноги на ковровую скамеечку, и не нюхаю душистую соль. У меня еще мало седых волос. Но я тоже глубоко вздыхаю.

Нюша всякий раз меня спрашивает:

— Толя, у тебя что-нибудь болит?

— Нет.

— Тебе грустно?

— Не очень.

— Что же ты вздыхаешь?

— Разве?

Я думаю об ее словах и понимаю, что это вздыхают мои

шестьдесят лет.

* * *

Вы только подумайте, одновременно в России жили — Толстой, Достоевский, Чехов!

Уже сегодня это кажется невероятным.

И я совершенно убежден, что подобное не повторится в течение столетий.

Как в Англии за три с половиной века не повторился Шекспир.

* * *

Шостакович находился тогда на Севере. Если память меня не обманывает — в Архангельске. В солнечный морозный день (было больше тридцати градусов) он в хорошем настроении вышел из гостиницы, чтобы купить в киоске газету. Заплатив двугривенный за московскую «Правду», он тут же на морозе стал просматривать ее и сразу увидел жирную «шапку» над подвалом: «СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ».

Эту преступную статью написал Заславский, обожавший музыку Шостаковича, считавший его гением. Газетный негодяй написал ее по конспекту Сталина.

Шостакович прочитал статью от первой до последней строчки тут же на морозе, не отходя от киоска. У него потемнело в глазах, и чтобы не упасть, он прислонился к стене.

Это рассказал мне сам Дмитрий Дмитриевич. Он забежал к нам на Кирочную в первый же день своего возвращения в Ленинград.

* * *

На девятнадцатом году революции Сталину пришла мысль (назовем это так) устроить в Ленинграде «чистку». Он изобрел

способ, который казался ему тонким: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным образом дворянам, стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешевенькими портфелями из свиной кожи. За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо — к раскаленным пескам Каракума.

Ленинград плакал.

Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой. Шостакович наскреб немного денег, принес их Софье Васильевне и сказал:

— Пожалуйста, купи, мама, чего-нибудь из мебели.

И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.

— И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?

— У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, — ответила Софья Васильевна.

— С чего бы?

— Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот, скажем, это бюро раньше стоило…

И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за нее заплачено.

Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались.

— Боже мой!…

И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш.

Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?… А теперь сколько ты заплатила?… Где ты их купила?… А это бюро?… А диван?… и т. д.

Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.

Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:

— Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги — туда, тем… Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, — верни тысячу сто… И за бюро, и за диван… За все… У людей, мама, несчастье, как же этим

пользоваться?… Правда, мама?…

— Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, — сказала мне Софья Васильевна.

— Не сомневаюсь.

Что это?…

Пожалуй, обыкновенная порядочность. Но как же нам не хватает ее в жизни! Этой обыкновенной порядочности!

* * *

Труп тирана, кровавого тирана, верховного палача, государственного преступника следует бросать в помойную яму, а не помещать его в мраморном мавзолее-усыпальнице рядом с Лениным.

* * *

Вождями Октябрьской революции были идеалисты-интеллигенты с бородками второй половины XIX века (Ленин, Троцкий, Луначарский, Бухарин и др.).

Кончились бородки — кончилась революция.

* * *

Мне очень по сердцу красивое мужское братство (fratemite!), которое я бы назвал «банным».

Да, как в бане! — где голые люди, не знающие друг друга по имени-отчеству, старательно трут намыленной мочалкой друг другу спины. А потом, сделав дело, звонко дружески хлопают ладошкой по мокрой заднице.

Надели люди штаны, и все кончилось.

Боже, как грустно!

Тьфу! Да ведь это трюизм, что писатель должен видеть жизнь собственными глазами, слышать собственными ушами, думать о ней собственной головой. А у нас хотят и настаивают, чтобы — по

газетной передовице.

Чудаки, право!

* * *

Федин и Леонов — не русская литература. Это подделка под великую русскую литературу. Старательная, добросовестная, трудолюбивая подделка. Я бы даже сказал — честная.

* * *

У Чехова где-то брошено: «Напрасно Горький с таким серьезным лицом творит (не пишет, а именно творит), надо бы полегче…»

Вот и Федин с Леоновым тоже — творят. А Пушкин — «бумагу марал». Конечно, на то он и Пушкин. Не каждому позволено.

И чего это я рассердился на наших «классиков»?

Бог с ними!

* * *

Не выношу полуинтеллигентов. Или — или. Куда лучше ремесленник, мужик, рабочий. А искусством управляют и о нем пишут сплошь полуинтеллигенты. Беда!

Такие курортные одноэтажные длинные дома с верандами, похожими на палубу, и с комнатками, похожими на каюты второго класса, назывались «кораблями». Да и окрашены они были в голубой пароходный цвет. Только и не хватало что трубы с дымом.

В полотняном кресле, шикарно именующемся «шезлонгом», спиной ко мне сидел приехавший ночью человек с волнистыми есенинскими волосами. Не слишком внимательно он читал газету. А у меня на коленях лежал третий том Чехова. Упиваясь, наслаждаясь, я перечитывал Антона Павловича всякое лето.

Сосед с есенинскими волосами, не повернувшись лицом, кинул какую-то фразу. Я ответил ему, также не меняя позы.

От фразы к фразе, лениво смакуя утреннюю евпаторийскую прохладу, мы разговорились часа на два, вплоть до полуденного купанья.

Перед тем как подняться за полотенцем, я спросил его:

— Ваша жена умеет плавать?

— Не знаю, — ответил он просто. — Я еще мало знаком с ней.

С этого пошла наша с Образцовым дружба — крепкая, спокойная, на три десятка лет.

Мы оба, разумеется, очень постарели. Но дружба постарела еще больше нас. Того и гляди, протянет ноги.

Мне очень нравился Владимир Николаевич Образцов, отец Сережи. Крупный, грузный старик с большим красивым (для меня) животом, с седой герценовской бородой, мягким значительным носом и глазами добрыми, счастливыми, любящими вас.

Когда я с ним познакомился, он уже был академиком во всех орденах. Беспартийный любимец правительства.

Сережа говорил про него:

— Папа за всю жизнь знал одну женщину.

На белом свете я перевидал немало. Но такое, признаюсь, впервые — одна женщина! Чудеса в решете. Не правда ли?

Вот случай из жениховских месяцев Владимира Николаевича.

На балконе подмосковной дачи за вечерним чаем сидело пятнадцать человек — полностью две семьи жениха и невесты.

Вошел жених и долго внимательно смотрел на попивающих чай.

— Добрый вечер… Приятного аппетита…

После чего, не найдя среди этих пятнадцати своей невесты, он спросил с огорчением:

— А где все?

Будущий тесть ответил ему без улыбки:

— Все в малиннике!

И жених побежал туда.

* * *

В Вятке на моем вечере, после того как я «отчитал» стихи, из зрительного зала пришла записка:

"Тов. Мариенгоф!

Как вы считаете — поэтами родятся или они делаются ими?"

Я прочел записку вслух и без паузы ответил:

— Сначала делаются, потом родятся.

Вятичи были очень довольны моим ответом.

* * *

Наконец-то при Мономахе россияне скинули в Днепр каменного идола. А потом, спохватившись, стали кричать:

— Выплывай, Перуне! Выплывай!…

Слава Богу, Перун не выплыл.

Так и со Сталиным. Впрочем, этот еще в истории выплывет. Но каким же чудовищем кровавого деспотизма!

* * *

В мастерской у Коненкова.

Вторично остановившись перед мраморным Паганини, я сказал:

— Ты, Сергей Тимофеевич, русский Микеланджело.

Он насупил густые длинноволосые брови:

— Я Коненков!… А не твой Микель.

Очень старик обиделся — как это я мог сравнить его с тем, кого сам же он считал гением, но, очевидно, по сравнению с собой, — гением второго рода.

Потом мы пили чай. Чашки стояли на столе в зверях, птицах и гадах ползучих, рожденных резцом великого скульптора из могучего древнего корня. Такая же деревянная в чудищах люстра висела над нами. На таких же стульях сидели мы. Сидели на бессмертных, на прекрасных произведениях коненковского искусства.

Я сказал:

— Если бы, Сережа, я был Рокфеллером, купил бы у тебя все это.

Он усмехнулся и почесал белую патриаршую бороду:

— Рокфеллер хотел купить. Очень! (Коненков сверх двадцати лет прожил в Америке.) Да я не продал ему. России они нужней.

Вернулся я от Коненкова тихим, «в раздумьях», как пишут плохие писатели, склонные к высокому стилю. Своим «домом» я называл квартиру Сарры Лебедевой, нашего старинного друга (тоже дай Бог скульптор!), у которой я обычно жил, приезжая в Москву.

— Саррушка, — сказал я, снимая шубу, — а ведь Коненков самый большой русский скульптор.

— Теперь?

— Да нет — вообще. От сотворения русского мира.

Она пожала плечами.

— Не согласны?

— На это трудно ответить.

— А кто же тогда, если не он? Трубецкой?

— Раздевайтесь, Толя, раздевайтесь. Вешайте свою трехпудовую шубу. Давайте ужинать.

За ужином этот разговор не возобновился.

В двадцатых годах Коненкову заказали мой портрет.

Не знаю, как теперь, но в то время, прежде чем подойти к мрамору или дереву, он много и долго рисовал свою натуру.

Я с утра приходил к нему на Плющиху в мастерскую.

На столе все уже было приготовлено: карандаши, листы ватмана, штоф зеленого самогона, два граненых стакана, две луковицы, два ломтя черного хлеба, соль.

Коненков кончал работу, когда пустел штоф. Одновременно.

Пить с утра, да еще вонючий самогон, да под луковицу — это оказалось выше моих сил. А пощады не было. После четвертого сеанса я смылся.

— Читывали мне вчерась старенький французский журнальчик, — рассказывал Коненков. — Этот журнальчик, видишь ли, распространил среди парижских художников и скульпторов анкету: «Кто и как работает?» Только один ответил: «Я — пьяным!» Этот один и был гением! Вот какое дело, Анатолий.

Фамилии этого французского «гения» Сергей Тимофеевич, разумеется, не запомнил.

— А все остальные, — убежденно заключил он, — бездарности!

— Среди них и Ренуар был? — спросил я. — Среди этих бездарностей?

— Кажется.

— И Роден?

— Как будто.

Я кивнул головой без всяких возражений. А Коненков надулся.

После возвращения из Америки с белыми космами и патриаршей бородой Сергей Тимофеевич уже не прикасался к спиртному.

При первой же встрече он снисходительно поставил передо мной графинчик хорошего коньяка и рюмочку, величиной с наперсток. А сам пил чай с лимоном.

Однако бездарностью он, пожалуй, не стал.

* * *

Я заметил: если человек поумней, а главное, поинтеллигентней, к медицине он относится насмешливо, иронически, сверху вниз. И лечиться очень не любит.

Разумеется, пока серьезно не заболеет…

Когда черноглазая «приготовишка» Нюрочка Никритина после уроков бежала домой, постукивая, как лошадка, копытцами, уже на Большой Васильковской (это в Киеве) она начинала молиться: «Боженька, миленький, ты все можешь, устрой, пожалуйста, чтобы у нас были к обеду гости!»

Так она их любила, этих гостей.

Прошло полвека, и ничего в этом ее свойстве не изменилось: «Гости! Гости!»

Вообще, по моему мнению, меняются в человеке только самые пустяки, самое неважное.

Была у меня приятельница — умная, интересная и актриса отличная. Романов у нее было, романов! Если кто-нибудь принимался считать их — пальцев не хватало.

И вот однажды иду я с ней по Садовому кольцу. Она прищурилась, кинула взгляд направо и сказала:

— Нет, этот не был моим любовником.

— Безусловно, — ответил я.

Потому что «этот» был… лошадью. Которая и фыркнула кстати.

— Ах, какой ужас, я обозналась! — воскликнула прелестница.

— Совершенно случайно, — пробормотал я.

Это было в отдаленные извозчичьи времена.

Вскоре моя приятельница родила дочку и назвала ее Татьяной, в честь себя.

— Пусть величают Татьяной Татьяновной! — объявила она.

Отец был абсолютно неясен.

Впоследствии, когда Татьяночку спрашивали:

— А кто твой папа?

Она отвечала с гордостью:

— Мой папа моя мама.

Жизнь разбросала нас. Никритина из Камерного перешла в Большой драматический, и мы перебрались в Ленинград. Встречались с Татьяной редко.

На генеральной репетиции у Мейерхольда меня кто-то по-свойски взял под руку:

— Ну и негодник! Ну и безобразник! Ну и гнусная личность! — с нежностью сказала Татьяна. — У меня уже дочь невеста, а ты и не видел ее. Потом ведь не простишь себе этого. Красавица! В твоем вкусе. Носик не римский и не греческий, а как у мартышек. Как у твоей Нюхи.

Само собой не прошло и суток, как я уже стоял перед крохотной дачной кроваткой из белых прутьев.

— Какова? — спросила счастливая мать.

Заломив пухлые ручки в складочках, сверкая карими глазищами и округлыми плечиками, созданными как будто для бального декольте, в кроватке лежала годовалая красавица-кокетка.

— Ну, какова? — переспросила мать, восторженно улыбаясь.

— Очаровательна! Прелестна! — ответил я. — Лет через восемнадцать, гарантирую, будет такой же неотразимой потаскушкой, как ты, мой друг.

— Что?…

И мать, мгновенье тому назад блаженно-счастливая, ринулась на меня:

— Хам!… Хам!… Хам!…

И, упав на диван, горько зарыдала.

Стоя перед ней на коленях, я целовал ее мокрые от слез руки и молил о прощенье.

— Ну конечно, хам. Конечно! — говорил я. — Но разве, дружок, это для тебя новость? Разве ты не знала этого? Вспомни, как ты объявляла: «Я в восторге: Мариенгоф зверски мне хамит. Это значит, что я ему нравлюсь и он ухаживает за мной…» Теперь, дружок, у тебя появилась соперница — твоя прелестная дочка. И я хамлю ей. И это значит, что я влюблен в нее по уши.

Татьяна рассмеялась сквозь слезы. В нашем кругу это называлось «ее грибной дождичек».

— Значит, мир?

— Мир, негодяй.

Важный Татьянин дядюшка, бывший полковник-кавалергард, с усами, словно сделанными из ваты, снисходительно улыбался из вольтеровского кресла, единственной роскошной вещи в

комнате.

Ровно через восемнадцать лет, при случайной встрече на Невском, я спросил этого пышного мужчину:

— А как Татьянина дочка? Как Татьяночка?

— Да ведь вы же, сударь, предсказали ее будущее. И не ошиблись… Романы, романы, романы!

Право, я нимало не удивился, — эти «романы, романы, романы» были уже написаны в сверкающих глазищах Татьяночки, когда она еще лежала в дачной кроватке из белых прутьев.

* * *

Взяв рюмку за талию, Эрдман сказал:

— Кто мои настоящие друзья, это я узнаю сразу после моих похорон.

— Почему так, Николаша?

— Твое здоровье!… — И он большим глотком выпил ледяную водку. — Видишь ли, цыганская карта предсказала, что хоронить меня будут в дождь, в слякоть. А ведь в такую погоду пойдут провожать меня на Ваганьковское только настоящие друзья.

Он налил вторую рюмку.

— За дружбу. Толя!… Сколько, нашей-то?

Без малого сорок.

В тот вечер мы крепко выпили.

* * *

Двухлетняя Олечка, внучка актрисы Казико, увидела в гостях большой портрет Толстого.

— Борода!… — сказала она уважительно. — Больша-ая, бе-елая… Деда хоро-ший.

— И умный, — вставила Казико. — Очень умный.

— И у-умный… всегда в горшок писает.

Я не убежден, права ли Олечка, если это понимать как образ примерного литературного поведения.

* * *

«ПОКАЗУХА!»

Это слово только вчера родилось, а сегодня его уже говорит город, говорит деревня, говорит интеллигент, говорит молочница.

* * *

Мимо моего окна опять шеренгочкой проводят малышей. Да это же трехлетние старики и старушки! Так же они повязаны поверх меховых шапок теплыми шарфами и платками; так же трудно, неровно передвигают жиденькие ноги в суконных калошах; такие же у них мрачные задумчивые физиономии. Словно головы обременены философскими мыслями. Чистый обман!… Впрочем, старики и старушки тоже нас надувают — философских мыслей у них в головах не больше, чем у трехлетних.

Ночь, как старуха в черном шерстяном платке, повязанном ниже бровей.

* * *

Уметь любить — это редкое свойство. Особенно для мужчин. Я бы даже сказал — это талант. Прекрасный талант! Он делает людей счастливыми. Ту, которую любят. И того, который любит.

* * *

Старый Эйх передал Юлиану Григорьевичу Оксману мою рукопись "Как цирковые лошади по кругу… ". Это название мне больше нравится, чем безразличное «Мой век, мои друзья и подруги».

Первое название я взял из собственного ненапечатанного стихотворения:

С тобою нежная подруга

И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.

С Юлианом Григорьевичем я познакомился в тридцать шестом году. Познакомился, и все! Одна случайная встреча, но очень приятная, упавшая в память и сохранившаяся в ней.

Оксманов в нашем литературном мире было — раз, два и обчелся. Он понимал литературу несравненно лучше, чувствовал ее глубже, судил строже и любил бескорыстней, чем наши многочисленные преуспевающие Ермиловы.

В том — тридцать шестом — году Юлиан Григорьевич был, как говорили, «без одной минуты академиком».

А стал… каторжником.

И неудивительно. Немногие крупные и порядочные люди уцелели в знаменитую эпоху. Потом, как бы оправдываясь, уцелевшие говорили:

— Я выиграл свою жизнь по трамвайному билету.

Теперь всем понятно, что люди тогда гибли, как говорится, — «за здорово живешь».

По этой же мудрой причине получил и Оксман свои десять лет магаданской каторги.

Спасибо еще, к стенке не поставили.

Но и там, в Магадане, наш «без минуты академик» сумел прославиться как… сапожник.

— Великолепные дамские туфельки делает! — рассказывали возвращенцы.

Было и такое: на одном длинном этапе (чем-то Оксман тяжело болел) его уже вытащили в мертвецкую. К счастью, на той узловой станции работал не медицинский чиновник, а горячий молодой врач. Он не только живых осматривал, но и покойников.

— Да ведь этот ваш труп дышит, — сердито сказал он служителю морга. — Вынести!

И Оксмана вынесли.

Жизнь! Жизнь!

«Все с пестрыми ручьями протечет…» — как сказано у одного поэта (могу же я, наконец, и себя процитировать).

И вот Юлиан Григорьевич Оксман — снова профессор, опять историк литературы, главный редактор… и прочее, и прочее.

Старый Эйх с удовольствием посылает ему «письмишки» не в каторжный Магадан, а в столицу Мира.

В последнем он лестно упомянул моих «Цирковых лошадей».

Ответ был написан 25/IV.

"Дорогой Борис Михайлович.

Вот уже и май через неделю. Хотел поехать в Ленинград, но паспорт пришлось сдать на прописку — так и остался без документа, не с чем в гостиницу попасть. А в гостях жить мне неуютно, старому каторжнику нужен комфорт, я уже не могу быть целый день на людях.

Устал безмерно — и никаких перспектив на передышку. Хочу в Саратов смыться недели на две перед дачей, но и там ждет работа — надо сборник своих старых статей подготовить к печати, да всякие чужие сборники ждут в гранках, в верстке, в рукописях. Иногда мне кажется, что я делаю один больше, чем весь Институт мировой литературы…

Я прочел все шесть тетрадей воспоминаний А. Б. Мариенгофа. Прочел не отрываясь, это был ведь настоящий разговор с умным и много думающим современником о многих людях, которых я и сам знал (немного, правда, со стороны). Я не сомневаюсь, что для наших потомков записки А. Б. Мариенгофа будут значить то же самое, что нам дают в наших работах воспоминания Анненкова, Панаева, Юрия Арнольда, — м. б., даже больше в некоторых отношениях, так как Мариенгоф совсем не книжный, не тенденциозный, не зализанный. Но сейчас об опубликовании этих воспоминаний отдельной книгой не может быть и речи. Погода не та. Еще в прошлом году можно было об этом думать, но печататься, пожалуй, все равно не пришлось бы. Во-первых, имя не каноническое, во-вторых, молодость не героическая, в-третьих — интонация непривычная. Что же с этим делать? Я думаю, что надо печатать кусками, м.б., кое-что перемонтировать. Вот, например, Илья в «Литературном наследстве» готовит том по советской литературе 20-х годов. Я бы для этого тома «Мой век» приготовил, кое-что изъяв, кое-что взяв из других разделов, нарушив хронологию в порядке «лирических отступлений» и проекции в будущее. Совершенно неожиданный, но исключительно интересный получился в воспоминаниях А. Б, не кто иной, как В. И. Качалов… Менее интересен Маяковский — как-то скуповато о нем сказано, много знакомо в лучших вариантах. Никто никогда не пройдет мимо того, что написал А. Б, о Есенине. Все это, мне кажется, еще более значительно, чем «Роман без вранья». Как мне жаль, что я не редактор большого журнала!… Я бы на свой риск напечатал А.Б. Мариенгофа, как К. Симонов печатает воспоминания Любимова или как «Литер. Москва» печатала стихи Заболоцкого".

* * *

Салтыкову уже было совсем плохо. Неожиданно кто-то явился проведать его.

— Занят, скажите, — прохрипел Салтыков, — умираю.

Форму объявления о своей смерти он написал сам:

"Такого-то числа и месяца скончался писатель М. Е. Салтыков (Щедрин).

Погребение там-то и тогда-то".

И распорядился напечатать это объявление в «Новом времени», «Новостях» и «Русских ведомостях». В Москву же сообщить телеграфом.

Хорошо бы умереть не трусливей.

Только вот объявления о моей смерти «Известия» и «Правда» не напечатают. И превосходно! Биография должна быть цельной. Портить ее не надо.

* * *

Одну очень знаменитую актрису, не слишком разборчивую в своих любовных встречах, я спросил:

— Для чего вам нужны эти ничтожные романы?

— Для блеска глаз, Толечка! — ответила она.

Последний роман ее с жирнозадым завмагом уж больно противен был.

— Не понимаю, милая, как вы с ним можете… — брезгливо проворчал я.

— А я, Толечка, в это время зажмуриваю глаза и шепчу: «Шляпки, шляпки».

* * *

Кирилке:

— Во, брат, это артист!… Всем артистам артист!… Голос-то! А?… Пожалуй, если окошко раскрыть, его б и на Литейном слышно было, и на Невском… А?

* * *

При царе интеллигентные молодые люди сплошь и рядом с высшим образованием шли на военную службу «вольноопределяющимися». Так это называлось. И там фельдфебель, полуграмотный хам, орал на них, обучая казарменной «словесности».

Теперь то же самое происходит в литературе. Полуинтеллигенты, полуневежды, командующие Союзом писателей, орут на меня, обучая, как писать, что писать, о ком и о чем.

Мерси!

* * *

Говорили о грехопадении Анны Ахматовой.

— Разрешите, друзья, несколько осовременить афоризм Горького, — сказал детский писатель со скептическим носом, слишком тонким и острым для рядового человека.

— Ну, осовременивай.

И воспитатель молодого поколения отчеканил:

— Летать рожденный могет и ползать.

— Прелестно!

* * *

— Терпеть не могу чудес! — говорю всякий раз, когда ищу свои очки, только что снятые с носа.

Бывает, что даже умоляю, как в детстве:

— Черт, черт, поиграй и отдай.

* * *

Смерть — это неизбежный трюизм, неизбежная банальность. Так к ней и надо относиться.

Пытаюсь.

* * *

До чего преувеличен Маяковский! Не любим, но из чиновничьего, из рабского послушания преувеличен. Сталин распорядился: «Самый лучший!…» Ну, и пошла писать губерния — попал Владимир Владимирович в Пушкины нашей эпохи. «Баня» стала «Борисом Годуновым» XX века, «Облако в штанах» — «Евгением Онегиным».

Смех и слезы.

Какая же литературная «компашка» меня устраивает?

Извольте: Шекспир, Пушкин, Лев Толстой, Чехов.

Больше всего на свете я ненавижу ханжей. Но тому, кто написал «Дьявола», и это, по мне, простительно.

«… Астрову нужно взять Алену, а дяде Ване Матрену», — скрипит он.

А подальше и того пуще: «… приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно».

Ханжи на здоровье, ханжи, Лев Николаевич!…

А тому, кто написал «Дядю Ваню», и пококетничать не грех. Господь Бог ему все простит.

— Я же не драматург, послушайте, я — доктор.

Это он Станиславскому. И похулиганить горазд:

«На Страстной неделе у меня приключилось геморроидальное кровотечение, от которого я до сих пор не могу прийти в себя. На Святой неделе в Ялте был Художественный театр, от которого я тоже никак не могу прийти в себя…»

Вот хулиган! Вот прелесть!

* * *

— Стихов-то у меня… лирики… про любовь нет… Хоть шаром покати… — сказал Есенин. — Плохо это… Влюбиться надо… Лирически бы… Только вот не знаю в кого.

Он никогда не умел писать и не писал без жизненной подкладки.

На его счастье, в тот же день Никритина вернулась домой после вечерней репетиции с приятельницей своей Гутей

Миклашевской, первой красавицей Камерного театра.

Большая, статная. Мягко покачивались бедра на длинных ногах.

Не полная, не тонкая. Античная, я бы сказал. Ну, Афродита, что ли. Голова, нос, рот, уши — точеные. Волосы цвета воробьиного крыла. Впоследствии Есенин в стихах позолотил их. Глаза, поражающие в своем широком и свободном разрезе, безукоризненном по рисунку. Негромко говорила, негромко смеялась. Да нет, пожалуй, только пленительно улыбалась.

Пушкин, казалось, угадал ее:

Стыдливо холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле -
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Александр Сергеевич не счел приличным напечатать эти свои отличные стихи, так как написал их о собственной жене.

У Сергея Александровича были другие этические правила.

Излюбили тебя, измызгали.
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Или в морду хошь?

Эти стихи, тоже написанные о жене законной, зарегистрированной, об Айседоре Дункан, Есенин, разумеется, напечатал. И слава Богу! У каждого века своя повадка.

На другой же день после знакомства с Миклашевской Есенин читал мне:

В первый раз я запел о любви…

Это была чистая правда.

А ночью он читал в ресторане — своей музе из Камерного театра:

Мне бы только смотреть на тебя;
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

У Миклашевской был муж или кто-то вроде мужа — «приходящий», как говорили тогда. Она любила его — этого

лысеющего профессионального танцора. Различие между приходящей домработницей и приходящим мужем в том, что домработница является на службу ежедневно, а приходящий муж — раза два в неделю.

Приезжая к Миклашевской со своими новыми стихами, Есенин раза три-четыре встретился с танцором. Безумно ревнивый, Есенин совершенно не ревновал к нему. Думается, по той причине, что роман-то у него был без романа. Странно, почти невероятно, но это так.

По-смешному я сердцем влип.
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в Рязани.
Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Это все произошло после возвращения Есенина из Америки, после развода с Изадорой Дункан. Пил он уже много и нехорошо. Но при своей музе из Камерного театра очень старался быть «дистенгэ», как любил сказануть, привезя из-за границы несколько иностранных слов.

— Подайте шампань!… — так теперь заказывал он в ресторане «Советское шампанское».

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Миклашевская была несколько старше Есенина.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.
Есенину было двадцать восемь.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу — там ли, здесь ли, где-то ль, -
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Стихи о любви наконец-то были написаны. И муза из Камерного театра стала Есенину ни к чему.

Попав во время войны в бывшую Вятку, я неожиданно встретил там Миклашевскую. Она уже несколько лет работала на провинциальных сценах — с Таировым поссорилась из-за своего танцора. Не желая на целый год расставаться с ним, она наотрез отказалась ехать в гастрольную поездку за границу. Таиров принял это как личное оскорбление.

«Возмутительно! — говорил он. — Променяла Камерный театр на какую-то любовь к танцору!»

Война. Эвакуация. Вятка.

— А вы, Гутенька, все так же хороши! — сказал я, крепко расцеловавшись с ней при свете «коптилки» военных лет.

Есенинская муза улыбнулась не без горечи:

— Так же ли, мой друг?

На другой день, при белом свете, я не без грусти понял и оценил правдивую горечь ее вопроса. Хороша, красива, но…

О возраст осени!…

Теперь эта поэтическая строчка была к месту.

Потом я заметил, что есенинская муза говорит громче, чем в промелькнувшую эпоху, что ее мягкие бедра совсем не танцуют и что у нее под мышкой портфель свиной кожи.

— Уж не стали ли вы, Гутенька, членом партии? — с улыбкой спросил я.

— Да, — строго ответила она.

— Может быть, даже председателем месткома?

— Да.

В воображении своем я увидел всю картину, предшествующую этому: вот Гутенька перед зеркалом; она всматривается пристальней и пристальней; конечно, сама видит то, что завтра — послезавтра увидят и товарищи по труппе (о, эти товарищи!), и режиссер, и директор, и зрители с проклятыми биноклями. Скажем откровенно: Гутенька не так уж замечательно играла даже гофманскую «Принцессу Брамбиллу», свою лучшую роль в Камерном театре.

Однако:

— Ах, до чего же красива эта Миклашевская!…

— Ах, какие глаза у этой Миклашевской!…

— А эти танцующие бедра!…

— А эта античная шея!… и т. д.

Кто же не знает, что красота неплохо служит актрисе, играющей героинь и кокет.

И вдруг — проклятое зеркало! Это бесцеремонное, это нехитрое вятское зеркало!

Вот и подала Гутенька заявление в ВКП(б). Партийные красавицы, как известно, увядают не так быстро, как беспартийные.

Перед моим отъездом из Вятки Миклашевская сказала:

— Вероятно, Толечка, в Москве вы заглянете к Таирову!

— Обязательно!

— Поговорили бы, милый, с ним обо мне. Что-то очень потянуло на Никитскую (там была ее квартира), на Тверской бульвар (там стоял Камерный).

— Охотно, Гутенька. Непременно поговорю.

Разговор с Александром Яковлевичем оказался легким. Первый бокал белого вина (теплого, военного, полученного по академическому пайку) я поднял за Камерный театр двадцатых годов.

— Выпьем, друзья, за наши чудные двадцатые годы! — чокнувшись, сказала Алиса Коонен.

— О, какое было время! Какое время! — сказал Таиров.

И его южные, маслянистые глаза загорелись.

Мы стали наперебой вспоминать спектакли тех неповторимых лет. Я, разумеется, не забыл и «Брамбиллу», прогремевшую в Москве.

— А знаешь, Саша, — обронил я, — пора тебе замириться с Гутей. Чего там недоброе помнить! Помирись и пригласи-ка ее обратно в театр. Гутя будет счастлива. Одним духом прибежит. Я случайно встретился с ней в Вятке, видел на сцене.

— Она все так же красива?

— О!

— Не подувяла?

— Нисколько! — соврал я с легким сердцем.

— Давай ее адрес.

К открытию нового сезона Миклашевская снова была актрисой Камерного театра. Какие роли сыграла она там, я не помню. Вероятно, нечего было помнить. Тем не менее Таиров вскорости выхлопотал ей звание заслуженной актрисы.

А когда, по предложению Сталина, Александра Яковлевича и Алису Георгиевну выгоняли из их театра, из таировского и кооненского Камерного театра, член партбюро Августа Леонидовна Миклашевская, став оратором, пламенно ратовала за

это «мудрое решение вождя человечества».

Эх, Гутенька, Гутенька!

После того я уже не встречался с ней. Что-то не хотелось.

* * *

Шел я как-то по Берлину с Никритиной и со своими приятельницами, молодыми актрисами Камерного театра — Александровой и Батаевой. Город холодный, вымуштрованный, без улыбки. Это я говорю не о людях, а о домах, о фонарях, о плевательницах.

И вдруг позади себя слышу сочные, густые, матерные слова. Самый что ни на есть первейший отбор.

— Нюшка!… Лиза!… Алочка!… Вы слышали?… Слышали?… — кинулся я к своим дамам. Кинулся, задыхаясь, трепеща. И глаза мои, по их уверениям, сияли восторгом.

Вот как я любил свою родину.

* * *

Покойный знаменитый профессор Гергалаф как-то у себя в клинике, по необходимости, отрезал одному несчастному ступни обеих ног.

Потом, демонстрируя обезноженного, профессор говорил своей белохалатной свите, что причина причин болезни — куренье.

— Вот до чего, друзья мои, довели человека «невинные» папироски, которые через десять минут вы все закурите, — заключил прославленный хирург.

Ассистент Гергалафа стоял возле изголовья обезноженного. Тот сделал ему знак глазами — «Нагнитесь, мол, ко мне».

И прошептал:

— А ведь я, доктор, в жизни не выкурил ни одной папиросы.

— Молчите! Молчите! — испуганно отвечал ассистент.

Не слишком ли много и в нашей литературе этого трусливого — «Молчите! Молчите!».

* * *

Когда родители назвали меня Анатолием, это было редкое имя. Больше половины России тогда составляли Иваны. Теперь же кругом Тольки и Юрочки, а Иван самое избранное имя. Лишь отчаянный эстет и оригинал назовет Иваном своего сына.

* * *

Киевский стихоплетишка Микола Бажан, дослужившийся на Украине до какого-то министерского портфеля, выступая в Москве, в Союзе писателей, сказал:

«Среди нашей интеллигенции нашлись, к сожалению, неустойчивые люди, которые думали в панике, что необходима переоценка всех ценностей, полная смена всех. Неправильно ставился вопрос и о личности И. В. Сталина. Многие ретивые редакторы дошли до того, что имя Сталина стали вычеркивать из наших произведений. Один из московских писателей заявил, что он горд тем, что ни в одном его произведении никогда имя Сталина не было упомянуто. А ведь гордиться-то нечем. Зачеркивать все, что было сделано Сталиным доброго, зачеркивать весь тот путь, который мы прошли, веря в Сталина как воплощение наших мечтаний и идеалов, видя в Сталине воплощение партийной воли и партийного руководства, было бы недостойно честных советских людей и честных советских писателей».

«Веря в Сталина как воплощение наших мечтаний и идеалов».

Подлец! Подлец этот Бажан!

— А миллионы и миллионы, — спрашиваю я, — безвинных людей, замученных в застенках ГПУ пытками этим «воплощением идеалов».

Им, им! Не жалкие же его палачи в ответе! Замученных им в одиночках, в каторге, в тюрьмах, в концлагерях, в ссылках. Расстрелянных им в затылок, как Мейерхольд, Перец Маркиш, Бухарин, Тухачевский и тысячи, тысячи других. Раздавленных на пустынных дорогах или в темных переулках, как великий артист Михоэлс.

Среди расстрелянных, раздавленных, замученных пытками и все друзья по революции Владимира Ильича — его старая большевистская гвардия, верная своему лидеру до его смертного

часа. Тут гордость нашего воинства — полководцы, разбившие Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля. Тут цвет искусства, науки и техники. Тут ум и мускулы деревни.

Бессмысленно, совершенно бессмысленно разбитые жизни, искалеченные, оклеветанные, обесчещенные, пущенные «в расход» наши лучшие люди.

«Мокрое» сталинское дело! Самое страшное «мокрое дело» за всю историю человечества.

Ну и подлец же, подлец этот Бажан. Этот Миколушка!…

«Есть много огромного, но огромней всего человек», — говорил Сократ.

Посмеемся же, друзья мои. Горестно посмеемся. Ведь и Бажан как будто тоже человек, он даже стишки пишет.

* * *

Марья Федоровна Андреева, жена Горького (после Пешковой и до фрейлины ее величества Бенкендорф) всегда говорила про Никритину:

— Моя дочка!

Действительно, играя в Киеве в Соловецком театре, Марья Федоровна пленилась (вероятно, от смешного, от неожиданного) очень тоненькой гимназисточкой четвертого класса, у которой было слишком много черных глаз и слишком мало носа. Настолько пленилась, что даже поставила в ее бедную комнату роскошный рояль, взятый где-то напрокат.

— Нюрочка хочет учиться на фортепьяно… Так вот!

Но Нюрочка собиралась стать великой драматической актрисой, а не пианисткой.

Однако бренчать на фортепьяно она все-таки благодаря Марье Федоровне научилась.

До Киева Андреева служила в Художественном театре. Правильная красота (даже чересчур правильная), необыкновенная фигура, эффектность и хорошие манеры заменили ей талант, если только что-нибудь может его заменить.

До Горького Марья Федоровна была замужем за тайным советником Желябужским, то есть полным штатским генералом. Это, однако, не помешало ей стать членом партии большевиков (с 1904 года!). У себя в салоне она принимала великих князей и самых на земле красных социалистов. Через Марью Федоровну миллионер Савва Морозов, влюбленный в нее, передавал деньги

на большевистскую революцию. Хорошо все-таки, что он покончил жизнь самоубийством до семнадцатого года. Такая революция — это ведь не игрушка для капиталистов.

Я познакомился с Андреевой в 1919 году в Кремле на узком писательском совещании, организованном Анатолием Васильевичем Луначарским и Горьким. Как это ни странно, на совещание были приглашены и мы — скандальные лидеры имажинистов: Есенин, Шершеневич, Рюрик Ивнев и я.

Марья Федоровна в глухом длинном шелковом платье была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в сафьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. В Кремле было холодно. Марья Федоровна не сняла с рук лайковые перчатки. В черных ее пальцах сверкал маленький золотой карандашик, прикрепленный к длинной золотой цепочке, переброшенной через шею. То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство.

Ее «дочка», то есть Никритина, вторично меня познакомила с Марьей Федоровной. Бывшая красавица, бывшая жена Горького, бывшая примадонна Художественного театра тогда заведовала каким-то крупным отделом в берлинском Торгпредстве. Отнеслась она к нам с широким радушием, сделав своими гостями не только по воскресным дням. Надо сказать, что с Марьей Федоровной было всегда интересно, но не всегда легко. Не наигравшись в театре, она продолжала играть в жизни слишком выразительными движениями и голосом сильным, красивым, но несколько театральным. Язычок у Марьи Федоровны был острый и очень злой. Попадаться на него не рекомендовалось. Как сообщали шепотом: «Опасно для жизни». Погибали даже те, кого она называла своими друзьями.

— Вам бы, Марья Федоровна, некрологи писать, — как-то сказал я.

Будучи женщиной светской, она не обиделась.

В Торгпредство как-то прислали из Москвы товарища Файнгора, не слишком старого члена ВКП(б). Его берлинские сослуживцы, говоря: «Здравствуйте, Марья Федоровна!» или "До свиданья, Марья Федоровна! ", всегда целовали у нее ручку. Приучены к тому были. Не чересчур умный, но чрезвычайно принципиальный (что нередко совпадает), товарищ Файнгор счел контрреволюцией это «прикладывание к ручке».

— Вот увидите, пальчики я ей целовать не буду! — твердо и сурово говаривал он своим сослуживцам. — Не дождется она от меня этого.

— Посмотрим, — с улыбкой отвечали ему сослуживцы.

— Посмотрим! — сердился он.

Через несколько дней, в кабинете торгпреда, перед каким-то заседанием, произошла встреча, интригующая всех. Надо сказать, что Марья Федоровна подавала свои изящные, отманикюренные пальчики так, что не поцеловать их было довольно трудно.

Но товарищ Файнгор решителен: демократически крепко пожав благоухающую ручку, милостиво протянутую ему на уровне рта, он мужественно попытался опустить ее. Не тут-то было. Ручка не поддалась. Произошла неловкая заминка. Торгпред и ответственные работники, затаив дыхание, следили за этой волнующей сценой: «Чья возьмет?».

Снисходительно улыбнувшись, Марья Федоровна сказала погромче обычного:

— Не бойтесь. Прикладывайтесь. Эту ручку Владимир Ильич целовал.

И товарищ Файнгор приложился. Да как! — с чмоком.

Торгпредство веселилось несколько дней.

Это не анекдот. А вот и еще один неанекдот.

Ленин, работая в своем кремлевском кабинете над срочным докладом, никого не принимал.

Мягко вошел секретарь и полушепотом сообщил:

— Владимир Ильич, в приемной товарищ Андреева.

— Кто?… — рассеянно спросил Ленин, не поднимая глаз от блокнота.

— Товарищ Андреева, Владимир Ильич, — повторил секретарь.

Ленин вскинул голову:

— Марья Федоровна?

— Да, Владимир Ильич. Может быть, сказать ей, что у вас срочная работа и вы никого не принимаете?

— Что вы, что вы, помилуйте! Немедленно впустите. Ведь у нее громадные связи.

Когда Марья Федоровна вошла в кабинета Владимир Ильич стоял, приглаживая бородку.

Почему, собственно, я написал эту главку? Да потому, что в Москве собрались выпустить сборник «Памяти Марьи Федоровны Андреевой», и какие-то дамы из редакции письмами и телефонными звонками просили Никритину написать о ней «воспоминания». Никритина отказалась: «Не умею-де этого делать».

В те берлинские времена Марья Федоровна уже была замужем за Петром Петровичем Крючковым («Пэпэкрю», как его называли). Он являлся полновластным горьковским

«коммерческим директором» — вел все его обширные «иностранные дела» по изданиям, переизданиям и переводам сочинений.

Встречаясь с Крючковым у Марьи Федоровны, я ощущал его человеком любопытным, башкастым, энергичным, невыплескивавшимся. Говорил он редко, но метко. Мрачноват был. Впрочем, только снаружи. Крепкие скулы и челюсти, крепкие ноги и руки. Роста отнюдь не гренадерского. Дорогие костюмы от первоклассного портного делали коренастую фигуру его чуть ли не элегантной. Пэпэкрю умел хорошо поесть, изрядно выпить, вообще хорошо пожить, не считая рубля, благо у него было их много. Горького он очень любил. Как мне казалось, любил гораздо больше, чем его бывшую жену, а теперь свою собственную.

Марья Федоровна в присутствии этого нового мужа всегда несколько робела, что вызывало удивление, иногда улыбку, но было трогательно. Впрочем, так обычно робеет почти всякая женщина, если она не на пустяк старше своего мужа.

Мне говорили, что Алексей Максимович, знавший русского человека «на взгляд и на ощупь», относился к Пэпэкрю с сердцем.

А после кончины Горького, умершего, разумеется, обычной человеческой смертью, Сталин… расстрелял Крючкова.

За что?… Народу сказано было: за преднамеренное злодейское убийство.

Кого?

Горького.

Фантасмагория!

* * *

Меня собираются положить для «капитального ремонта» в клинику Военно-медицинской академии. Никритина спрашивает нашу соседку — актрису Пушкинского театра, забежавшую навестить меня:

— Скажите, Лелечка, ваша приятельница Зоя Алексеевна как будто тоже лежала в Военно-медицинской?

— Да.

— Она довольна?

— Нет, она не довольна. Она умерла, — отвечает Лелечка со всей серьезностью.

И мне захотелось мрачно пошутить:

— Вот и я точно так же не буду доволен.

Англичане любят подобные шутки. Для них, вероятно, я бы мог написать неплохую комедию. Не там родился.

* * *

Есть такой старенький стишок:

Наши Аполлоны
Плохи с колыбели.
Снявши панталоны,
Ходят в Коктебеле.

В этом самом Коктебеле, под горячим солнцем, я неизменно спорил с Борисом Николаевичем Бугаевым, то есть Андреем Белым; спорил с ним на мелкой гальке, устилавшей берег самого красивого на свете моря всех цветов. Ну просто не море, а мокрая радуга! Спорил в голых горах, похожих на испанские Кордильеры. Спорил на скамеечке возле столовой, под разросшейся акацией с желтыми цветочками. Андрей Белый был старше меня вдвое, но отстаивал он свою веру по-юношески горячо — порой до спазм в сердце, до разбития чувств, до злых слез на глазах. Он являлся верноподданным немецкой философии и поэзии, а я отчаянным франкофилом — декартистом, вольтеровцем, раблэвцем, стендалистом, флоберовцем, бодлеровцем, вэрлэнистом и т. д. Я считал немцев лжемудрыми, лжеглубокими, безвкусными, напыщенными. А он моих французов — легкоумными «фейерверковщиками», фразерами, иронико-скептиками, у которых ничего нет за душой.

Вероятно, оба мы были не очень-то справедливы — я по молодости лет, а он по наивности старого мистика с лицом католического монаха XII века. Ведь автор философии и теории символизма, книги стихов «Пепел», посвященной Некрасову (хорошие стихи!), и великолепного романа «Петербург», инсценированного при советской власти и вставленного во 2-м МХАТе, этот полусоветский автор все еще вертел столы, беседуя с бесплотными духами. К слову, и Зинаида Райх, брошенная Есениным, но еще не пленившая Мейерхольда, тоже вертела их с Борисом Николаевичем.

А Есенин, фыркая, говорил:

— Андрея Белого хочет в мужья заарканить.

Действительно: Райх и бесплотные духи!…

Весьма подозрительная была тут гармония, подозрительное родство душ.

Третьим великим спорщиком нашей компании был поэт Осип Мандельштам. Но у него на споры было меньше времени: чтобы читать в подлиннике сонеты Петрарки, он тогда рьяно изучал итальянский язык по толстому словарю, кажется, Макарова. Поэт дал зарок ежедневно до обеда зазубривать сто итальянских слов.

Наш обед состоял из прохладного супа с жесткими серыми макаронами и коровьего вымени.

Садясь за стол, коктебельянцы обычно говорили:

— Что в вымени тебе моем?

А под конец лета даже произошел серьезный бунт. Беспанталонные «аполлоны» явились разъяренной толпой под окна директорского домика.

— Долой вымя!… Долой вымя!… — скандировали они громоподобно.

И грозили объявлением всеобщей голодовки.

— Неужели это и вправду было? — недоверчиво спрашивает теперешняя литературная молодежь, отворачивая в Доме творчества свои избалованные носы от благородных мясных котлет.

— Ей-богу! Старые коктебельянцы профессора — Десницкий, Эйхенбаум, Томашевский, Жирмунский, писатели Всеволод Иванов, Шкловский и поэтесса Ольга Берггольц могут вам подтвердить это. К счастью, все они еще здравствуют.

Андрей Белый ежедневно светился. Светились его бледно-фиалковые глаза, его лысина, похожая на фарфоровое перевернутое блюдце; его редкие серебряные космочки, красиво обрамляющие лысину. Поэтому вначале мне даже было как-то совестно спорить с Борисом Николаевичем. Но постепенно я привык.

А Мандельштам преимущественно витал в облаках и выше.

У него тоже были редкие космочки, но пегие; была и лысина, но еще не фарфоровая; он также напоминал монаха, но перешедшего в католицизм из веры иудейской. Говорил Осип Эмильевич презабавно — гнусаво, в гайморитный нос, и нараспев: «Вы зна-а-а-аете, Анато-о-олий, сего-о-о-одня вы-ыы-ымя застря-я-я-яло у меня-я-я-я в го-о-о-орле». Так в эпоху расцвета акмеизма модные поэты читали в литературных салонах свои стихи. На первых порах это поглупение, вызывая улыбку, мешало мне дискутировать. Но мало-помалу и тут я привык.

Администрация нашего Дома творчества, вероятно из почтения к космочкам, посадила их в столовой за один столик.

Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложноклассическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки, ужасно раздражало Андрея Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия.

В нашей столовой перерыв между первым блюдом и вторым всякий раз был мучительно длинным. Чем же заполнить его? Как же быть-то? В придачу ко всему мнительному поэту казалось, что Андрею Белому он (Осип Мандельштам!) совершенно неизвестен.

— Вы понима-а-а-ете, мо-о-о-ой друг, он не то-о-о-о-олько никогда-а-а-а не чита-а-а-ал ни одно-о-о-о-ой моей строчки, но даже фами-и-и-илии моей не ве-е-е-едает! — пел Осип Эмильевич, отводя меня под руку за тощую акацию.

Других деревьев в Коктебеле не было.

В конце концов, чтобы не сойти с ума от этой навязчивой мысли, Мандельштам сбежал из Дома творчества за десять дней до окончания путевки. Как известно, на стихи не очень-то прокормишься. Тем более на хорошие стихи. А Мандельштам, на беду свою, писал прекрасные.

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Вот Осип Эмильевич и ходил с пустым кошельком. Тогда еще деньги в кошельки клали, а не просто совали в карман.

Чтобы и в самом деле не свезли преждевременно на кладбище, приходилось нашим поэтам все время побираться, то есть брать деньги взаймы без отдачи. Но сколько же лет можно брать таким образом? Тут-то и проявлял Осип Эмильевич поражающую виртуозность мысли.

Существовала тогда Центральная комиссия улучшения быта ученых (Цекубу). Милостью Анатолия Васильевича Луначарского к ученым причислили поэтов, прозаиков и даже критиков, которые, как мы знаем, никакого отношения к ученым не имеют. Когда умирал член Цекубу, правление выдавало некоторую сумму на его похороны. Осип Эмильевич справедливо решил, что эти могильные деньги ему живому пригодятся больше, чем ему мертвому. И своевременно подал заявление, что он-де клятвенно отказывается от похоронной суммы с тем, чтобы ему вручили ее вперед, когда еще приходится кушать почти каждый день. Могильную сумму немедленно выдали под соответствующую

расписку. Даже председатели правлений тогда не были лишены чувства юмора. Вот какая была эпоха!

А родной брат Осипа Эмильевича однажды показал мне следующую телеграмму: «Прошу именем покойной мамы немедленно вышли сто рублей. Осип». Эти образцы виртуозной манделыытамовской мысли можно без труда множить, множить и множить.

Жил Осип Эмильевич до того странно, до того нелепо, что порой мы говорили, горестно разводя руками: «Ох, у него не все дома!…» И стучали при этом указательным пальцем по лбу.

Как-то где-то Алексей Николаевич Толстой обронил о нем что-то обидное и не слишком справедливое. Разумеется, добрые друзья это немедленно передали Мандельштаму, как полагается, сильно преувеличив. Примерно через неделю, случайно встретив Толстого, кажется, в Доме Герцена, Осип Эмильевич подошел к своему обидчику, величаво встал на цыпочки и двумя пальцами правой руки едва-едва коснулся его щеки. После чего пропел торжественно:

— Счита-а-а-айте, су-у-у-у-ударь, что я да-а-ал ва-а-а-ам поще-е-е-ечину.

Толстой ничего не понял. По его словам, эта «пощечина» напоминала нежную женскую ласку или прикосновение бархатной лапки котенка, спрятавшего коготки.

А Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт своевременно раздобыл в бутафорской Камерного театра.

Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался, фехтуя со своей рыжеволосой подругой. Она была поразительно ему под пару, сочетая в себе парение в эмпиреях с виртуозностью практической мысли. В самом деле, не могла же она лишить своего «великого поэта» чашки крепкого черного кофе с четырьмя кусочками пиленого сахара!

— Умоляю вас, одолжите нам до завтра несколько рублей. Ведь мой Осенька без турецкого кофе…

И глаза ее наполнялись слезами.

Так драматически обращалась она к тем, кто был настолько богат, что мог выложить «купюрку», прекрасно зная, что она «без отдачи».

И замечательный поэт писал.

Спасибо тебе, рыжеволосая подруга Осипа Эмильевича!

А писал он все лучше, лучше и лучше.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей…

Осип Эмильевич все предугадал.

Сталин, конечно, и ему кинулся «на плечи». «Век-волкодав» — это был он. Кинулся, загрыз и замучил до смерти — в ссылках, в концлагерях и каторжных тюрьмах.

* * *

Есенин на Тверском бульваре.

— Лев Николаевич считал, что плотская любовь окружена «суеверием». Надо его разоблачить! — говорил он.

Но не сделал этого. Не успел. А жаль!

Литература действительно нагородила черт-те что вокруг этого дела — естественного и необходимого, но уж больно незамысловатого.

Получаем удовольствие от этого?… Получаем. Ну и слава Богу. Спасибо.

Но ведь обезьяны тоже удовольствие получают. Не правда ли? Да еще, как известно, куда больше, чем мы с вами.

* * *

«Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги» и эту рукопись я бы хотел издать под одной обложкой.

«Бессмертная трилогия».

Вот название. Вероятно, сделать это придется уже после меня. «Apres moi», как говорят французы.

Не могу слукавить, что это приводит меня в восторг. Приятно было бы взглянуть на книгу, подержать ее в руках, поперелистывать и важно поставить на полку, получив с издательства тысяч сто.

Пригодились бы нам с Нюшкой.

* * *

Я с грустью сказал своей старой приятельнице:

— Вот, милая, и у тебя есть квартира. Поздравляю! И шкаф, и широкая кровать, и стулья из Будапешта, и холодильник, и пылесос.

— И муж, — добавила она.

— Да, и квартира, и свой муж.

Чужих мужей у нее было более чем достаточно.

— Чего же ты вздыхаешь, Анатолий?

— А вот «дома», милая… понимаешь, теплого человеческого «дома», у тебя все-таки нет. Это ведь не одно и то же. Квартира еще не дом.

Я посоветовал:

— Попробуй заведи кошку… или канарейку.

Она завела и кошку и канарейку. Не помогло. Кошка сбежала ровно через неделю. Вероятно, она сбежала от неуютности. А через полгода и муж сбежал… задушив бедную желтенькую птичку…

* * *

Машенька принесла двойку по арифметике. Мама сделала ей выговор. Машенька прослезилась. Тем не менее через два дня она принесла опять двойку — по русскому языку. На этот раз дома на нее уже покричали. И Машенька вытирала со щек слезы пухлыми кулачками. А под выходной она явилась с третьей двойкой. Мама не выдержала и отхлопала ее. Не больно, конечно, а так — «символически». Плача навзрыд, Машенька горестно повторяла:

— Господи, хоть бы скорее на пенсию выйти!

А племяннику актрисы Ольхиной за какое-то детское «преступление» надавали по попке настоящих звонких шлепков. В полном отчаянии он кричал:

— «Скорую помощь»! Скорей вызовите «скорую помощь»! А то я никогда в жизни не смогу на горшочек садиться!

Несколько дней тому назад я познакомился с этим молодцом. На нем уже была форменная школьная фуражка с золотыми листочками на околыше. Первая школьная фуражка!

Когда Ольхина вспоминала комический случай из его биографии, он, презрительно пожав плечами, сказал:

— Мало ли какие глупости бывают в дни нашей молодости!

Потом строго добавил:

— А тебе, тетя Нина, стыдно рассказывать мужчинам неприличные истории.

И, надув щеки, важно удалился.

Вот и я таким же был. Только ни одного шлепка не получил за все детство. Зато теперь…

* * *

Он спросил:

— Ты любишь, Толя, слово «покой»?

— Да.

— От него, конечно, и комнаты называют «покоями», — заметил он.

— От него и «покойник»…

— Какой, Толя, тонкий, красивый и философский у нас язык! Правда!

Это было незадолго до Сережиной смерти.

* * *

Старики говорят так:

— Я тоже был не прочь приволокнуться за пикантной бабенкой.

— Я предпочитал свиные отбивные с горчичкой!

— А у меня желудок работал, как часы.

— Я переплывал Волгу запросто.

— Я чертовски увлекался теннисом.

— У меня в волосах гребень ломался. Вот какие густые были.

И ни одного настоящего времени.

Омерзительно!

* * *

Кого же я люблю больше — Толстого или Чехова? Тс-с! По секрету. На ухо!

— Чехова.

* * *

В двадцатых годах психологические пьесы, психологический театр были не в моде. Это называли «психоложеством».

* * *

Мысль Толстого, Чехова, Достоевского всегда хочется «закусить» собственной мыслью.

В этом, пожалуй, самое большое достоинство хорошей литературы.

* * *

Как-то мы с Бабелем в двухместном купе отправились из Москвы в Петроград.

Во время таких путешествий, приятных и довольно комфортабельных, писатели обычно пьют коньяк и говорят о женщинах.

Но коньяк не являлся бабелевской страстью, да и я без него не умирал от грусти, — вот и пили мы чай с лимоном.

В те годы российская литература была в расцвете. Она пожирала нас, во всяком случае, не меньше, чем женщины.

До Клина, то есть около двух часов, мы говорили только о ней. Говорили с наслаждением, со страстью. Потом, примерно столько же, Бабель наизусть читал стихи Осипа Мандельштама. Он читал превосходно — не напевно, как поэты, и не бытово по-актерски, а по-своему — по-бабелевски.

— Ну-с, Анатолий, пора на боковую.

— Пора!

Мы погасили белые электрические лампочки и зажгли синий ночничок.

Я, худой и длинный, с приятностью вытянулся на своей

верхней полке, а он, коротенький и уже с брюшком, съежился в комочек на своей нижней.

— Черт возьми, Анатолий, как я вам завидую! — сказал Бабель, посасывая ломтик лимона, вынутый из стакана.

— Чему ж это?

— Да вот, что стихи пишете, — ответил он. И стал аккуратно запаковываться в коричневое верблюжье одеяло. — А я за всю жизнь четырех рифмованных строчек не мог нацарапать. Бился, бился… До чего же это трудно!

— Трудно?… — усмехнулся я.

— Так и Владимир Ильич считал. Он ведь к вашему брату, к поэтам, по-особенному относился. Мне Бонч рассказывал.

В заключение Бабель, обладавший редкой памятью, наизусть процитировал пушкинского пашу из «Путешествия в Арзрум»:

«Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются», — и, натянув одеяло на лысину, мой попутчик мечтательно вздохнул: — Поэзия!… Поэты!…

Голова у него была круглая. Нос маленький, мягкий.

— Вы чудак, Бабель.

— Почему?

— Да ведь в вашей прозе гораздо больше поэзии, чем во многих, очень многих стихах… Ну, скажем, в стихах Асеева. И, право, не меньше, чем у Маяковского. Даже во «Флейте-позвоночнике». А это его самая поэтическая вещь.

Бабель от удовольствия даже сел.

— Вы это серьезно, Мариенгоф?

— Абсолютно.

Действительно, я ему не льстил, так как никогда, к сожалению, не умел этого делать. А ведь лесть, даже глупая, так облегчает жизнь!

— Вы, Бабель, прекрасный писатель!

Для меня самого эти слова явились совершенно неожиданными. Даже прекрасному поэту Есенину я ни разу в жизни не сказал, что он прекрасный поэт.

— Спокойной ночи, брат дервиша.

Исаак Бабель тоже умер в сталинской каторжной тюрьме.

* * *

А вот анекдот:

— Вам не нравится Бабель? — спросили маршала Буденного.

— Смотря какая бабель, — ответил он.

Я очень люблю хорошие анекдоты.

И еще:

Бабель был так умен, что всегда после встречи с ним, казалось бы, ничем не примечательной, я легко понимал: «Да, именно этот человек мог написать „Конармию“, написать „Закат“, написать своего Беню Крика».

* * *

Так же, как и после встречи с Шостаковичем — за покерным столом или за стопкой водки в Келломяжском шалмане, или за именинным пирогом у нас, или за пельменями у него — словом, всегда я мысленно говорил себе: Да, именно этот человек мог написать «Леди Макбет», «Пятую симфонию», «Седьмую симфонию» и т. д. ".

А ведь бывает и по-другому. Раза три-четыре мне довелось разговаривать с одним очень знаменитым артистом (Хмелевым). И всякий раз была в разговоре тема: театр, пьеса, музыка, художники, политика. Однако потом, на улице, я разводил руками: «Неужели это тот самый человек, который так замечательно играет и то, и то, и то. Играет, черт побери, с божественной глубиной Толстого, с чеховской тонкостью, с дьявольским умом Горького?… Вот поди-ты!… А сам…»

И опять разводил руками: «Откуда бы?… Ничего не понимаю!»

* * *

Вот я и доигрываю свою последнюю сцену. Если бы в наши дни вдруг люди стали говорить таким же высоким слогом, как Шекспир, то через несколько реплик, как мне думается, должен прозвучать следующий диалог:

Гораций. Покойной ночи, милый друг. Пусть ангелы баюкают твой сон.

Мариенгоф. Ха-ха — ангелы! (Умирает.)

После этого с барабанным боем входит Фортинбрас (то есть секретарь по административной части Союза советских писателей). Потом — траурный марш и… труп уносят.

Очень смешно. Правда?

* * *

Когда женщина по-настоящему курит — папироса торчит у нее в углу рта гораздо профессиональней, чем у мужчины. Она глубже затягивается. И гораздо энергичней выпускает дым из ноздрей.

В этом, конечно, нет разврата. Но мне кажется, что-то говорит о развратности таких женщин. Они сидят, обычно закинув ногу на ногу, и на их колено можно положить руку с большей уверенностью.

Во время короткого расцвета бывшего Михайловского театра (вторая половина двадцатых годов) там пошла первая опера Шостаковича «Нос». Замечательная опера. Острая, дерзкая, по-гоголевски гротесковая и новая в каждой своей музыкальной фразе. Успех у «Носа» был необычайный. Но у немногих. А «болото», как ему — болоту — и полагается, отвратительно заквакало всем своим внушительным лягушачьим хором.

Очень долго после этого Шостакович повторял:

— Тот, кто враг «Носа», — мой враг.

Я понимал Дмитрия Дмитриевича.

И сегодня — на пороге старости — скажу, как в юности:

— Тот, кто враг моей «Бессмертной трилогии» (то есть «Романа без вранья», «Моего века…» и вот этой книги), — тот мой враг.

Правда, покамест врагов у последних двух вещей совсем мало. Пожалуй, одна Вера Федоровна Панова. Ведь читают по рукописи, и только избранные. Чаще всего, разумеется, избранные мной.

Панова прочла как редактор «Ленинградского альманаха».

Не желая показать свою совершенно нормальную трусость в этой должности, она предпочла прикинуться дурой.

А это ей трудно.

* * *

Мне думается, что уйти из жизни (так же, как уйти из гостей) гораздо лучше несколько раньше, чем несколько позже, когда ты уже всем здорово надоел.

* * *

Шаляпин на редкость тонко понимал литературу. Вот он прочел «Артамоновых», и что ему особенно понравилось у Горького:

«Березки стоят выгнанными из леса».

Это и вправду великолепно!

* * *

Сегодня на Невском проспекте меня оштрафовали на пять рублей за переход улицы по кривой линии.

Я, конечно, обозлился, как обозлится почти всякий человек, даже справедливо оштрафованный.

Однако через минуту, к удивлению милиционера, я громко рассмеялся. Мне вспомнился Анатолий Васильевич Луначарский. На том же Невском, на том же переходе, неподалеку от Европейской гостиницы, его тоже оштрафовал постовой милиционер, но почему-то на десятку. В те годы портреты Анатолия Васильевича уже не выставлялись в витринах, и для молодого работника рабоче-крестьянской милиции он был, судя по рыжему меху в плешинах на воротнике длинной шубы, судя по пенсне, по бородке и животу, просто старым человеком из «бывших» бар.

— Черт их знает, — сказал мне Луначарский, — только бессмысленно раздражают народ! Надо же все-таки соображать хоть немного. А вот они без соображения!…

Говоря «их» и «они», Анатолий Васильевич меньше всего думал о милиционерах. В ту достопамятную эпоху для большевика с 1903 года и бессменного при Ленине народного комиссара просвещения слово «они» относилось к Сталину и его правительству, называвшемуся «соратниками».

* * *

Я собирался на бал в женский институт. Белые лайковые перчатки, попахивающие бензином, лежали на столике рядом с блестящими, туго накрахмаленными манжетами. Носовой платок уже был надушен. Тетя Нина до сияния начистила плоские золотые пуговицы на моем двубортном черном мундире с высоким красным воротником.

— Когда, дружок, ты был совсем маленький, — сказала тетя Нина, — и к вам в дом приходил чужой человек, ты, шаркнув ножкой, сразу его спрашивал:

«Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?»

— Дамам я тоже задавал этот глупый вопрос?

— Нет, дружок, дамы тогда тебя еще не интересовали.

О, это все было не так просто, как предполагала тетя Нина! Дело в том, что дети начинают размышлять о жизни человека гораздо раньше, чем это думают родители. В десять лет я говорил себе:

— Не хочу жить стариком. И не буду, не буду! Обязательно умру красивым. В двадцать пять лет.

Тридцатилетние мужчины казались мне стариками.

Срок исчезновения из этого мира постепенно отодвигался.

Когда мне самому стукнуло четверть века, я уже заявлял приятелям:

— Дотяну до сорока пяти и баста! Пуля в лоб!…

У меня было брезгливое отношение к старости.

Через два месяца — то есть 7 июля — мне исполнится шестьдесят. Невольно спрашиваю: «Научила ли меня чему-нибудь жизнь?» Очень сомневаюсь. Во всяком случае, я не стал более мудрым, чем во времена тети Нины. Нисколько!

Вот только вчера среди ночи, когда я проснулся, чтобы выпить чашку боржома, вдруг совершенно твердо решил: «Хватит! Сыт по горло! Не желаю, черт возьми, превращаться в старую развалину. Ну, протяну еще три-четыре года и…»

Поучительная история.

* * *

Внучке бухгалтера БДТ Валечке третьего дня исполнилось два с половиной года, но луну она увидела первый раз в жизни.

Нахмурив тоненькие бровки, она смотрела на нее долго и серьезно. А потом сказала:

— Погляди, дядя, какая на потолке зажглась красивая лампочка!

* * *

Уж если писать, так, пожалуй, для читателя и зрителя. А у нас почему-то пользуются особой благосклонностью романы, сочиненные для книжных шкафов, и пьесы, поставленные для пустых стульев.

* * *

Когда Уланова и Завадский часа в два ночи ушли от нас, мы еще тогда жили на Кирочной, наша домработница Шура, презрительно шмыгнув носом, сказала:

— Уланова, Уланова… Вот уж обнокновенная… Вот уж… И, не договорив, стала обиженно, со звоном, убирать со стола посуду.

После этих слов Шуры я точно понял, в чем гениальность Улановой: она «вот уж обнокновенная» и в своих условных «пачках», и в божественной пластичности своего классического танца на пуантах.

В стихах это сказано несколько иначе:

Ты такая ж простая, как все.
Как сто тысяч других в России.

Было ли когда-нибудь до Улановой нечто подобное в балете?

Не уверен.

А Качалов, наш дорогой Василий Иванович, не в пример Улановой, «дошел» до Шуры.

Слушая из детской, как он читает Ричарда III, она в полном восторге шептала…

* * *

Шкловские жили в своей новой московской квартире, а на даче у них («чтобы в тишине поработать») очутился Юлиан Григорьевич Оксман.

Дача порядочная. И три, значит, жителя: он, домработница и кот.

Стояли мягкие предвесенние дни.

Разобрав чемоданчик, Оксман позвонил-в Москву:

— Я, Витя, проживу у тебя на даче недели три. Ладно?

— Да живи, пока не надоест.

— Мне здесь никогда не надоест. Красота! Сразу другим человеком стал. Четверть века с плеч скинул.

А на следующее утро Юлиан Григорьевич уже был в Москве.

— Это ты? — удивленно спросил Шкловский, отворив дверь своему дачнику.

— Я.

— И с чемоданом?

— Как видишь.

— Не понравилось?

— Нет, очень понравилось. Там у вас чудесно.

— А почему сбежал?

— С вашим котом поссорился, — мрачно ответил Оксман.

* * *

Это было в конце сталинских сороковых годов.

Келломяки. Почему-то не льет дождь. Я прихожу на вокзал, чтобы встретить Никритину. Она обещала вернуться пятичасовым, но задержалась на репетиции, и вместо нее я неожиданно встретил Шостаковича.

— Зайдем, Анатолий Борисович, в шалман.

Он своими тремя столиками раскинулся напротив станции.

— Выпьем по сто грамм. У меня сегодня большой день.

И Дмитрий Дмитриевич улыбается саркастически. Не люблю я этого слова, но другое (хорошее) не приходит в голову.

Садимся за деревянный кривой столик, к счастью, не покрытый облупившейся липкой клеенкой. Девушка в белом переднике приносит нам теплую водку и на черством хлебе заветренную полтавскую колбасу.

Шостакович чокается:

— Так вот, Анатолий Борисович, являюсь я сегодня в Консерваторию… А перед тем как войти в класс, случайно останавливаюсь перед «доской объявлений» и читаю…

Он делает паузу и с той же улыбкой потирает руки.

— Читаю, что меня выгнали из профессоров.

— Прелестно!

— Узнаю, значит, об этом из приказа, наклеенного на доску.

— Прелестно!

— Ну, выпьем, Анатолий Борисович.

— Есть за что! — говорю я.

И мы сдвигаем зеленоватые стаканы.

* * *

Позвонил художник Владимир Лебедев:

— Знаете, Толя, я до сих пор некоторые ваши стихи наизусть помню. Вы, конечно, не Пушкин, но… Вяземский.

Я не очень обиделся, потому что и Вяземских-то у нас не так много.

* * *

За несколько дней до смерти, чувствуя себя совсем не плохо, Лавренев говорил:

— Я смерти не боюсь. В 67 лет умереть уже не страшно. А вот что у моего гроба будет произносить речь Анатолий Софронов, это, друзья мои, страшно!

Так и случилось. Надгробную речь говорил Софронов. А от ленинградских писателей — пьяный Виссарион Саянов, которого Лавренев тоже терпеть не мог.

Закон жизни! Она же, чертовка, ироничней всех Вольтеров.

* * *

Знаменитое кафе «Стойло Пегаса» принадлежало по документам «Ассоциации вольнодумцев».

Этих вольнодумцев в Москве тогда было трое: Есенин, Шершеневич и я.

* * *

Я люблю и бульварную литературу, и уголовную, при условии, если она «качественная», как теперь говорят. К примеру — «Анну Каренину» Л. Толстого (бульварный роман), «Братья Карамазовы» Достоевского (уголовный).

* * *

Болтая, шучу, чуть-чуть кокетничаю с хорошенькой блондинкой, заполняющей мое «пенсионное удостоверение».

— Распишитесь, пожалуйста, товарищ Мариенгоф.

На мне модное светло-серое пальто, из-под которого торчит яркое клетчатое кашне.

— Желаю вам, Анатолий Борисович, жить до ста лет, — говорит девушка.

— Не слишком ли много? — отвечаю я. — В этом возрасте я, вероятно, не смогу ухаживать за вами.

— Сами не захотите. Я уже буду стара для вас.

— Ни в коем случае! Блондинки не стареют.

Продолжая болтать, я раскрываю « пенсионное удостоверение» и читаю первый пункт:

«Пенсия назначена по старости».

И сразу же улыбка на моих губах делается жалкой, а глаза тухнут, словно я узнал горькую новость.

* * *

Если бы меня спросили, что в жизни необходимей — хлеб, нефть, каменный уголь или литература, я бы, не колеблясь,

ответил — литература.

Это понимают еще немногие.

* * *

Когда Андрей Белый умер, Мандельштам подвел свои счеты с ним:

Скажите, говорят какой-то Гоголь умер?
Не гоголь, так себе писатель, гоголек…
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок,
Молчит, как устрица — на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул,
Тут что-то кроется — должно быть, есть причина.
…Напутал и уснул.

янв. 1934

В ту эпоху, названную справедливо сталинской, смерть для бессмертных была довольно стандартной: в тюрьме (как Бабель), на этапе (как Мандельштам), в подвале чекушки с дыркой в затылке (как Мейерхольд) или в сумасшедшем доме (как Белый).

Осип Эмильевич начал умирать в ссылке, казавшейся посторонним почти сталинской милостью.

Но, оказывается, не ему самому.

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета.
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

А вот еще из той же «Воронежской тетради».

И еще:

Пусти ж меня, отдай меня, Воронеж -
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня, вернешь -

Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? -
И хочется мычать от всех замков и скрепок.
И в яму — в бородавчатую темь -
Скольжу к обледенелой водокачке
И, задыхаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.
А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора б!

1937 Конец 1950-х

Послесловие

Михаил Козаков «О ДЯДЕ ТОЛЕ МАРИЕНГОФЕ»

Он не был мне дядей в буквальном смысле этого слова, не был родственником. Но он был как родственник, как любимый родственник. И он, и его жена — актриса Анна Борисовна Никритина, тетя Нюша.

Сколько я помню себя с того довоенного ленинградского детства, столько и с тех пор я помню дядю Толю и тетю Нюшу. Помню их дом, квартиру с мебелью красного дерева, с бюстом А. С. Пушкина, с картинами, эскизами их друга Тышлера, с двумя борзыми собаками (они были лишь до войны), с фотографиями Сергуна, С. А. Есенина (он и дядя Толя в цилиндрах), с деревянным креслом на кухне — стилизация а-ля рюсс начала века… Смутно помню их сына Кирилла, он дружил с моим старшим братом Вовкой… Уже после войны я узнал, что Кирка — красавец, чемпион Ленинграда по теннису среди юношей, талантливый поэт — покончил с собой в 17 лет… Когда Вовка услышал эту страшную новость, он вскочил с кресла, где читал какую-то книгу (скорее всего, своего любимого Толстого), и в сердцах воскликнул: «Ну и дурак!…» Пройдет всего пять лет, и Вовка погибнет на войне в возрасте 21 года — в марте 1945-го под Штеттином… Самоубийство Кирки Мариенгофа всегда будет незримо витать в нашем доме на канале Грибоедова и, конечно, в доме Мариенгофов — Никритиных на Бородинке, где они жили после войны.

Повесился друг Сергун. Повесился сын Кирилл…

Страшная рифма в судьбе поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа:

> До свиданья, друг мой, до свиданья.
> Милый мой, ты у меня в груди.
> Предназначенное расставанье
> Означает встречу впереди…

Означает ли? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос, вопрос вопросов… Очень хочется верить, что все-таки означает… И обещает всем нам встречи. Этим и жив человек при жизни, человек, которому было дано любить кого-то как себя, больше,

чем себя…

Мой отец Михаил Эммануилович Козаков и Анатолий Борисович Мариенгоф были соавторами нескольких пьес: «Преступление на улице Марата», «Золотой обруч», «Остров великих надежд». Пьесы — времянки. Спектакль по лучшей — «Преступление», шедший после войны в Театре им. Комиссаржевской с треском и Постановлением закрыли в 1946 году. «Золотым обручем» в Москве в режиссуре Майорова открылся Театр на Спартаковской (впоследствии Драматический театр на Малой Бронной). Этот, прошедший около трехсот раз, подкормил после войны семьи Мариенгофов — Козаковых. На «Остров великих надежд» в Питере в режиссуре Г. А. Товстоногова в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола Мариенгоф и отец возлагали действительно большие надежды. В пьесе и спектакле действовали Ленин, Сталин, Черчилль, Рузвельт… Спектакль вышел в 1951 году. Папа и дядя Толя решили «лизнуть». Положение их в литературе и в жизни было отчаянное. Не печатали, не переиздавали, не платили…

Но, как будет сказано впоследствии у Александра Галича: «Ох не шейте вы, евреи, ливреи…» Хотели лизнуть одно место, и оказались в этом самом месте. Спектакль был разгромлен в «Правде» и попал в Постановление о драматургии… Лизать тоже надо уметь. Ни отцу, ни дяде Толе этого было не дано. Ленинградский БДТ, где тогда, еще до Товстоногова, играла тетя Нюша, находился на гастролях в Одессе. Я, школьник, закончивший 9 класс и мечтавший об актерской карьере, играл в массовках этого театра. Идя на спектакль, я на заборе прочитал статью в «Правде» и, прибежав в театр, взволнованно рассказал об этом Никритиной. Она побледнела. После спектакля мы сидели с тетей Нюшей и дядей Толей в снимаемой ими квартирке. Тетя Нюша строго сказала: «Миня, ты собираешься стать актером. Запомни навсегда: перед спектаклем никогда не приноси новостей актеру, не читай газет, не читай даже писем…» Мариенгоф меня защищал. А чего это ему стоило в тот злополучный день — Бог ведает.

Прозвище дяди Толи — «Длинный». Он и в самом деле был длинный и худой. Папа маленький и округлый. Пат и Паташон. После войны у них были темные выходные костюмы из материала в полоску. Когда папа умер, он лежал в гробу в этом своем лучшем костюме, а дядя Толя, приехавший с тетей Нюшей из Питера в Москву проститься с другом, тоже был в своем лучшем. Потом он сказал: «Это только я так мог, оказаться в том же…»

У дяди Толи было много друзей: Таиров, Качалов, Эйхенбаум, Тышлер, Берковский, Шостакович, Образцов…

В те послевоенные годы Мариенгоф был не только не в чести, но на него многие смотрели как на человека прошлого, ненужного, давно прошедшего…

«Роман без вранья» называли враньем без романа. О «Циниках» не слышал даже я… Пьеса в стихах «Шут Балакирев» нигде не шла. Стихи поэта-имажиниста, о котором Ленин сказал: «Больной мальчик», не то что не печатались — не упоминались. Как он жил, как они жили? Не понимаю. И еще умудрялись смеяться, шутить, радоваться жизни, иногда выпивать, ухаживать, слушать музыку, рассуждать о Чехове, Толстом, Дос Пасосе, ходить в кино, любить театр, искусство и друг друга…

Лучшей пары, чем Мариенгоф — Никритина я никогда не видел, не знал и, наверное, не увижу и не узнаю. Уже после смерти Анатолия Борисовича тетя Нюша мне сказала: "Миня, а знаешь, как бы нам с Толечкой не было плохо днем, вечером мы выпивали по рюмашке, забирались в свою семейную постель и говорили друг другу: "Мы вместе, и это счастье… ".

Мариенгоф, когда Товстоногов перевел Никритину на пенсию (она еще вполне могла играть, но не стала товстоноговской актрисой нового БДТ), писал для нее «маленькие пьески»: «Кукушка», «Мама» и др. Никритина с молодой тогда Ниной Ольхиной и молодым Игорем Горбачевым их играли на эстраде. В конце 50-х и я играл с тетей Нюшей «Кукушку» в Москве на разных концертных площадках, став популярным актером после фильма Ромма «Убийство на улице Данте», возил ее с собой по городам и весям нашей необъятной…

Каждый раз приезжая в Питер, я, разумеется, бывал в доме покойного Мариенгофа.

И вот уже в 70-х Анна Борисовна открыла бюро красного дерева и дала мне заветное. К тому времени уже было опубликовано кое-что из мемуаров Мариенгофа в журнале «Октябрь», отрывки из «Романа с друзьями». Но оставались заветные, написанные от руки тетради А. Б, и вышедший за границей роман «Циники».

Мы с женой едва уговорили уже престарелую Никритину дать нам возможность перепечатать тетради. Страх, это проклятое рабское наследие, еще давал о себе знать. Уговорили и перепечатали. Я давал это читать в Москве друзьям.

Мне кажется, что в жанре мемуаристики XX века Мариенгоф — из лучших в России. Он дал непривычный тон. Стиль. Интонацию. В этом он опередил свое напыщенное и фальшивое время. И много выиграл. Теперь он с нами. И после нас, мой любимый дядя Толя.

notes

Notes